

ГЕОРГ  
ТРА  
КЛЪ

ГРЕЗЯЩИЙ  
ГЕЛИАН

ИЗБРАННЫЕ СТИХИ В ПЕРЕВОДАХ  
НИКОЛАЯ БОЛДЫРЕВА-СЕВЕРСКОГО

• ВОДОЛЕЙ • МОСКВА •  
2020

ББК 84 (4Ге)  
УДК 821.161.1  
Т65

ТРОПОЮ ПРИШЕЛЬЦА  
(ПРЕДИСЛОВИЕ ПЕРЕВОДЧИКА)

Художник *О. Сетринд*

*Памяти одного «раноушедшего»:  
друга детства Коли Нахабина*

1

**Тракль Георг.**

Т65 Грезящий Гелиан: Избранные стихи / Сост., пер. с нем., предисл. и примеч. Н. Болдырева-Северского. – М.: Водолей, 2020. – 296 с.

ISBN 978–5–91763–496–8

Австрийский поэт Георг Тракль (1887–1914) – одна из самых ярких и парадоксальных фигур в лирике двадцатого века. Р.-М. Рильке, пораженный его «Гелианом» и «Грезящим Себастьяном», вступил в 1915 году в переписку с издателем и другом Тракля, отмечая хрупкую зазеркальность мира поэта, убежденный, что тот ушел с некой неведомой нам или даже неисповедимой тайной. А знаменитая поэтесса Эльза Ласкер-Щюлер писала: «Возможно, он был Мартином Лютером, несшим свою трехипостасную душу на ладони, отправляясь в крестовый поход...» Мартин Хайдеггер, анализируя феномен Тракля, написал едва ли не лучшее свое эссе о природе поэзии.

ББК 84 (4Ге)  
УДК 821.161.1

ISBN 978–5–91763–496–8

© Н.Ф. Болдырев-Северский, перевод, предисловие, примечания, 2020

© О. Сетринд, оформление, 2020

© Издательство «Водолей», оформление, 2020

*В темной земле отдыхает священный пришелец. С уст его нежных принял плачи сам Бог, дав погрузиться в глубь своих ароматов. Цветок голубой песнь его продолжает в ночном обиталище боли. Эту эпитафию, сочиненную Траклем для Новалиса, легко переадресовать самому Траклю, чей голубой цветок горячей слезой не только пролился в ночи, но и продолжает мерцающе гореть подобно звездным слезам. Не потому, что это якобы высокий символ (ставший, увы, общим местом), но потому, что звезды подобны распаду и гниению, и это сходство ничем не унять, как не унять похмельную дрожь, когда, очнувшись утром у водосточной трубы или в поле за городом, поэт чувствует себя переполненным звездным мусором, сором и пылью. И в то же время звезды у Тракля почти всегда затонувшие и мерцающие со дна озера еще и потому, что, как верно заметил Хайдеггер, небо и есть для поэта реальное бездонное озеро. Верх и низ опять же слились как наслаждение и боль, как возрождение и распад.*

Траклевский голубой цветок – это кровь, струящаяся из горла, поющего песнь, дабы не быть заживо замороженным духами зла. В золоте облака, времени зыбь. Вечерние колокола пронзают духоносную синеву неизъяснимой пустотой своих не от мира сего вибраций. Стонут в чащах птицы от страсти, от невозможности ее удовлетворения в том времени, где идет гниение плоти. Этот запах отвратительно возбуждающ и бесплоден. От него зарождаются лишь новые шорохи гниений. Ангелы стучатся в ворота своими хрустальными пальцами лишь на раннем-раннем рассвете, где еще никто не в состоянии про-

снуться. Но тот, кто проснулся, оказывается в странном мутном сне, где об ангелах сообщают лишь на пыльных страницах старых архивов. Хрустально блистают лишь вазы да горсти воды в горных озерах, похожих на то, что некогда было с Пришельцем еще до рассвета. Туманна сумеречность не только плоти, но и духа. Однако сущность сумерек – их священство. Для созерцателя это очевидность, подобная той очевидности, что ночное озеро и звездное небо – одно и то же. Тот, кто хотя бы раз это пережил, знает это.

## 2

Однажды Георгу Траклю явилась медитационная сущность того струенья, которое было бы равно опрометчиво назвать и жизнью, и смертью. (Ибо сама по себе смерть, быть может, есть тоже струенье.) Суть этого струенья, этого то пурпурного, то пунцового, то голубого мерцанья, этой хрустальной, поющей (на неизвестных языках) прозрачности невозможно ухватить иначе как в совокупном корпусе этих магических песнопений, где слова расставлены отнюдь не в иррациональном беспорядке, как иногда кажется: нет, в иррациональном порядке. Пришелец, чья дружба с поэтом Георгом Траклем и составляет формальный сюжет стихов, медитирует, поскольку это единственная форма его бытия, подсмотренная им у неких существ с той нашей родины, которая здесь уже отсутствует. Пришелец и не знает иного способа полета между мирами. А летать ему необходимо, поскольку он существо междумирное, залетное. «Как некий херувим, он несколько занес нам песен райских...» Пушкин о том Моцарте, у которого даже нет могилы. Симптоматично. Как сомнительна смерть Тракля, ибо в реляциях краковского госпиталя указана смерть Георга Франкля 37 лет от роду, но никакого Тракля 27 лет в записях смертей нет. Говорят, это всего лишь ошибка врача или фельдшера, вполне объяснимая человеческим безумием года 1914-го, однако даже если Георг Тракль и умер, что вполне объяснимо фактом гниения зеленой плоти, то Пришелец-то по определению умирает не с нами. И это самое, пожалуй, поразительное. Человек – все-

го лишь зверь, и это – лучшая из его личин. Но это лучшее все же съедобно для тленья, подобно сладкому телу сиротки, ждавшей небесного принца, но оказавшейся гниющей плотью в кустах лещины. И этот разрыв необходимо заполнить. И он заполняем медитацией Пришельца. Откуда Пришелец? Оттуда, где нет этого напряженного, болезненного томленья, но мистериальный экстаз фантастически покоен, как струенье лесного мшистого ручья. Пришелец андрогинно просветлен, и мрак романтически-христианской похоти не вошел в него, мрак останавливается перед ним в остолбенении как перед чудесным самосветящимся алмазом. Однако в существе Пришельца – внимание к страданиям и боли. Сущность его священства двуедина. У самого Тракля это было выражено в высокой степени. С одной стороны, свойственная мистикам экстатичность (ибо созерцается неразъятость горенья жизни-смерти), с другой же стороны – захваченность мистерией страдания, разлитого вокруг. В «Волшебной стране» он рассказывает об одном опыте подобного двуединого чувства и в частности – о «священной, трепетной робости перед немим, до странности захватывающим страданием» больной девушки Марии. Однако главная тональность этой новеллы – медитационная: «Тогда мы часами молча сидели втроем». Часами, молча... Это опыт того, кто предназначен был с детства стать другом Пришельцу. Это опыт, подобный опыту души графа из новеллы «Забвение», «над тысячелетней усталой душой которого тяготел рок». Какого рода рок? Этой тайне, попытке ее разгадать отчасти посвящен весь корпус стихов Тракля, которые являются, несомненно, не только музыкой, но и исследованием, попыткой прорыва на крыльях говорения по наитию. Разве случайно Тракль был так привязан к явившемуся ему однажды символу – грезящему Себастьяну, чистому противоречию, которое тем не менее иногда вновь и вновь воплощается на земле? Конечно же, поэт был далек от того, чтобы напрямую ассоциировать своего лирического героя с раннехристианским мучеником, расстрелянным римлянами из луков. Хотя, несомненно, блаженное лицо Себастьяна, каким его изображают многочисленные христианские и околочристианские «иконы», и общий

отрешенно-буддистский вид святого не могут не интриговать загадкой страдающей и в то же время не страдающей, поистине словно бы грезящей плоти. Причем плоть у Себастьяна на картинах, можно сказать, роскошна, цветуща и при этом страшно уязвлена стрелами, но тем не менее абсолютно покойна и умиротворена. Эта парадоксальная гамма всегда поражает при созерцании этого сюжета, вызывая своего рода раздраженное недоумение.

Тракль ассоциирует Себастьяна с грезой, его Себастьян – принимающий муки (многожды, неостановимо – «жало в плоть») и в то же время – грезящий, сновидящий, есть метафора жизни самого Тракля. Одновременность этих процессов дает картину, которую трудно удержать в сознании, она вновь и вновь требует своего восстановления и пульсирующего (дискретными точками) понимания. Страдать и грезить одновременно, принимать муки и блаженно сновидеть одновременно – поистине парадокс, но именно он-то и есть один из ключиков к пониманию «мировоззрения Тракля». Вновь и вновь вонзается в него острое жала, и он принимает эти страдания, глубоко вслушивается в них, но в то же самое время и грезит, продолжает блаженно грезить, пребывать в своем дрящемся живом мифе, который для него реальнее и «жизненнее» происходящего вовне, в мире умерщвленных вещей и «моральных» предписаний.

Так отдаются потоку сильной реки, притом что неизвестно, что это за река, в какой она местности, как называется и куда течет. Притом что протекает эта река в той твоей местности, которая самому тебе, скованному бытом и оболочкой века, почти неизвестна. И в этой местности место Пришельцу открывается как нельзя кстати. Какова же судьба? Каков же процесс? «Ступеньки безумья в комнатах черных, древние тени в дверях, распахнутых настезь. Здесь душа Гелиана себя созерцает в зеркале отсвета розы; снег и проказа сыпятся вниз с чела Гелиана». И что же дальше? «На стенах нет уже звезд, звезды потухли. А вместе с ними и белые призраки света...» И все же в итоге «тихо Господь над внуком голубые веки смыкает». Над внуком, «тихо сошедшим в помраченье». Сущность этого по-

мраченья неясна, таинственна, размытна. Подобно неразгаданной сущности того помраченья, в которое сошел в свое время Гёльдерлин, ушедший из мира общепринятых словесных коммуникаций в мир «потусторонних» речевых связей; и в этой новой свободе, в этом новом одиночестве новый гений прожил три с половиной десятилетия. Это ли не Пришелец, замеченный лишь в XX веке?

3

Настоящий поэт создает своим творчеством миф. Он размыкает-растапливает свою хладно-рассудочную социальную личину в иррациональной плазме мифа, где наша сущность соединяется наконец в гармониях и дисгармониях гигантской архитектоники с чем-то или кем-то, превышающим все назывные смыслы, внятные нам в нашем бытовом плоскостном, одномерном сомнамбулизме. Потому-то так наивны попытки постигать стихи Тракля сквозь призму его «биографических страданий». Говорят: была конкретная патологическая личность, гениально выразившая и свою патологичность, и свой поэтому неизбежный конфликт с реальным миром. Следовательно, изучим биографию и тогда поймем эзотерический смысл его таких закрытых, зашифрованных стихов. Но на самом деле нет ничего более закрытого и зашифрованного, чем жизнь любого человека, тем более столь ускользающего от любых идентификаций существа, каким является поэт, в зеркалах которого общающиеся с ним на самом деле видят лишь свои замшелые, обветшавшие, отдающие плесенью маски. И вот с их-то помощью пытаются постичь ту «неизвестность самого себя», которая условно поименована Пришельцем, Чужеземцем, Чужаком.

Ключа к жизни любого человека у нас нет. Ключ есть лишь у того, кто сотворил и послал в мир этого человека. Потому любой человек зашифрован, и биографию его написать невозможно, ибо мы можем считать лишь шаблонные мотивы «масок» либо отражения своих собственных примышлений к наблюдаемым «фактам», хотя сам по себе факт, как известно, абсолютно внеличностен, находясь в нечеловеческой плоско-

сти. И лишь художник дает некоторую возможность прочтения своей биографии, поскольку ключом к ней может стать его творчество. Лишь этим ключиком можно что-то открыть, чтобы затем что-то понять в подлинном своеобразии и в подлинных страданиях того, чья энергетика формовала миф, в центре которого всегда – вновь и вновь удаляющаяся неизвестность самого себя. Ибо наша индивидуальность, находящаяся за пределами слова и речи, есть *terra incognita*. Нам ведом лишь словесный театр, где роли заранее распределены. Поэт одним прыжком выходит за его пределы и движется на голой интуиции.

Потому-то один из частых и ведущих эпитетов в стихах Тракля – *dunkel*: темный, смутный, сумеречный, сумрачный, туманный, таинственный, неизвестный, неведомый. Это и синий (голубой) зверь, синяя птица, таящиеся в чаще, в лесах, в горах, иногда выходящие оттуда, это и тропы, по которым блуждают в «священных сумерках» брат с сестрой, это и Пришелец, носитель знания междумирного, это и некая внезапная гармония, являющаяся поэту, внезапное пение, некая мелодия, не поддающаяся расшифровке. Через эпитет *dunkel* определяются духи дикого ручья, прорывающиеся словно во сне в сердце поэта. Сумеречно-таинствен страх смерти. Из сумеречно-смутных сеней вышел золотой силуэт юной девы. Сумеречны яды белых снов. Сумеречно-смутны легенды титанов. «Смутно-неведомы зеркала моей души». И сама Земля – смутно-неведома. Неведомо-смутны, таинственно-сумеречны у Тракля и диалог между мужчиной и женщиной, и нежная мелодия ручья в еловой чаще; мелодия, семантика которой обладает не просто эмоцией, но именно смыслами, которые выходят за грань нам известного. Неведомо-смутны и внутренние уста человека, и взор сестры, чей лунный голос *неотступно звучит в священной ночи*; взор, изумленно устремленный в брата, чья истерзанная родственность непостижима и уходит в тайну. Но эту тайну брат прочитывает в глазах сестры, в этих «знающих глазах», волхвующих из неких праглубин. И что же волхвует-ся из этой иррациональной глубины любовного притяжения? То, что поэт именуется опять же с помощью эпитета «*dunkel*»:

*ein dunkles Geschlecht* – некий неведомо-смутный, таинственно-неизвестный единый, нерасколотый, цельный пол (он же род). Подступ к некоей тайне, грубо приближаться к которой поэт не решается, ибо дальше началась бы идеология. Брату с сестрой дано заглянуть в некий древне-мистериальный, отнюдь не фрейдовского толка, колодец. Поэт нарушает некое табу и исследует то, что молва называет осудительными терминами. Но молва и Тракль ведут речь совершенно о разном. Обычно мужчина и женщина не разрешают себе увидеть друг в друге брата с сестрой, которых необъяснимый эрос и влечет друг к другу, и смущенно приостанавливает на каждом этапе. В каком измерении достижима подлинная андрогинность? Это на самом деле неизвестно. Тем более сегодня, в хаосе неслыханного «культурного» варварства, имитирующего раскованное неоязычество. Что означает это взволнованное романтическое всматриванье в ночные бездны глаз друг друга мужчины и женщины, имеющих мужество осознавать себя братом и сестрой? В мощи этого вопроса – сила неоткрытого смысла, воздерживающего нас от автоматизма обычных действий и обычных ответов. В контексте сумеречно-ночного мира Тракля, где действуют энергии Пришельца, своеобразие этих необнаруженных смыслов особенно предощущаемо как энергетическое поле с большим объемом нехоженых троп.

4

Контакт с обществом поэту, если он, конечно, поэт в изначальном смысле слова, не может удалиться. Одна из изначальных интуиций поэзии – предугадывать тот факт, что мир улавливает человека в тенетах функционального мышления и чувствования. Поэт прорывается в «потустороннее». Но это потустороннее обнаруживается здесь, за ним не нужно уходить в космическое плавание. Точнее говоря, этот космический прорыв есть на самом деле трансформационный вербальный прыжок. Что происходит при этом с эмпирическим телом поэта, мало кто способен понять, да и способен ли вообще? Станет ли, например, кто-нибудь задумываться над тем фактом, что чем больше

вина выпивал Тракль, тем трезвее становился, во всяком случае внешне. Что означала эта его трезвость, это отрезвление?

И конечно надеяться отыскать в стихах поэта эмоциональные выплески «натуральной» чувственности – весьма наивное занятие. Поэзия Тракля клиширована внутри своей собственной системы координат подобно клишированности средневековой иконописи, подобно клишированности древнеегипетского сакрального искусства, ибо и та, и другая, и третьи пытаются свидетельствовать о некоей истине, но не о непрерывно обновляющихся (и бегущих сами от себя) эмоциях или впечатлениях. Мир его поэзии пребывает в рамках системы с вполне ограниченным числом основополагающих образов, вещей, сущей и эпитетов. (Пример с «dunkel» – типичный для поэтики Тракля). Образность его стихов избегает расширяющегося, разрастающегося словаря; напротив, словарь Тракля беден почти так, что вызывает ощущение некоторой философской или религиозной системы, воссоздаваемой, разумеется, интуитивно-бессознательно, спонтанно. Эта бедность – роскошна, как бедный словарь монаха или отшельника, она свидетельствует о том, что поэт нашел немногие вещи, глубина которых самодостаточна. Эти вещи, эти сущи, эти духи, этот ландшафт не есть эстетические феномены, сменяемые новыми, иными: нет – эти феномены не только физичны, но и метафизичны, потому-то поэт кружит в пространстве, которое и есть место схождения этого и иного миров. Здесь и происходит явление Пришельца, способного приходить и уходить и разрушающего наш плоскостный миф.

В траклевском мифологически монотонном, монашески скупом на слова пространстве сосуществуют по своим законам и так называемые живые, и так называемые мертвые (покойники), и так называемые нерожденные. Они бытийствуют не в разных мирах, но в одном – здесь-и-сейчас в акте нашего внимания, в акте нашего вполне магического контакта с сознанием Георга Тракля, уловленным минималистски выстроенной системой зеркал. Причем, ни один мотив стихов Тракля не закреплен намертво, он спроецирован так, что мерцает отблесками в изменяющейся от точки зрения наблюдателя объемной пер-

спективе. Мы не вполне знаем, например, куда влечет «лунный голос сестры» и о чем он, собственно, «неуклонно, неостановимо» поет. Мы не знаем, в чем тайна этого диалога, но мы ощущаем, сколь иррациональны эти соприкосновения, постоянно выходящие на странный уровень старинных японских хокку. С этим ощущением постоянно сталкиваешься, переводя Тракля: с прозрачным аскетически-дзэнским немногословием, гибким и хрупким одновременно. Потому столь слабы почти все имеющиеся переводы: неясно, каким образом воссоздать заново магическую структуру без введения дополнительных семантических блоков. Загадочность в текстах Тракля появляется как бы из ниоткуда, как это и происходит в дзэнском эстетическом пространстве японской поэзии, в очевидной ненапряженности назывных смыслов, где бытию просто дается возможность *быть*, то есть пребывать как бы вне контекстов. И когда его не «напрягают», не хватают за «загрибок» в агрессивно-эпатажном раже или в исследовательском «волевом напоре», оно само по себе начинает давать излученье, где иррациональные смыслы по существу прозрачны, а сознание наблюдателя начинает петь в актуальном проистекании смерти. Смерть входит в бытие так же спокойно, как и иные виды волхвований, не попадающих на зуб «исследователю». В поэзии Тракля, собственно, медитирует не человек, но то изначальное жизненно-смертное вещество, которое является всем – и озером, и звездами, и гниющей плотью, и свистящим меж каменных стен ветром, и хрустальным голосом ангела, и смрадными трупами возле ограды прекрасного сада. Эта траклевская полифония хорошо видна в его удивительном «Гелиане» или в «Псалме», посвященном Карлу Краусу. В этом «новом пространстве» конфликты между «этим» и «иным», между обыденно-захвачанным и священным сняты в новом созерцательно-экстатическом синтезе. Человеческая обыденная жизнь предстает этому «внемирному» наблюдателю как таинство вне всяких смыслов, как одновременность загадочных, порой фантастических и жутких, но в любом случае завораживающих обрядов.

Мы не замечаем нашей реальной междумирности. Поэт как бы забегает вперед и сообщает о том, о чем мы, быть может,

узнаем за последним пределом, а может быть и не узнаем никогда. Но забегает он не для того, чтобы нам нечто сообщить. На самом деле он никуда не забегает: он – тот, кто уже умер и еще не родился.

5

Русские переводчики Тракля отчего-то всё тянут поэта в «духовные сумерки», то бишь в «сумерки духа». Хотя вовсе не нужно тяжелых орудий авторитета М. Хайдеггера, чтобы увидеть, что речь идет о духоносных, сакральных, священных сумерках, о том переходном состоянии дня, когда «открывается щель между мирами» и тревожное присутствие духа на земле более явственно, чем при прямом солнечном свете. И вообще вычитывание мрака (под знаком минус), гниения и распада, некой неврастеничности и богемного надлома в строфах поэта русские переводчики ведут непомерно утрированно, вычитывая все это по существу из своих собственных внутренних установок. Поэт Тракль редкостно целомудрен и целокупен, и никакая биография, изучаемая «со стороны мрака», здесь ничего на самом деле не объясняет и не объяснит, разве что произнесет несколько тривиальных сентенций. Источник света имманентен отчаянно простодушному речевому потоку и безусловно трансцендентен тем обстоятельствам жизни, которые зафиксировали случайные спутники Георга, бредущие в своих воспоминаниях тропами неизбежно глубинно «ангажированных» интерпретаций.

Известно, сколь замороженно-настойчиво обсуждал Тракль с друзьями тему смерти. Однако достоверно мы знаем одно: в его поэзии эта тема никогда не звучит сама по себе, изолированно; она всегда – нить в полифоническом полотне, где одновременны монологи-отчеты духа смерти и духа жизни. Эта экзатика двусосновности бытия у Тракля даже более импульсивна, чем у Райнера Рильке в его поздней метафизической лирике. Рильке постигает единство жизни-смерти более созерцающе-отстраненно, сама его вовлеченность в эти тайны – внезапно как мгновенные прозрения; этот высокий ток пробивает су-

щество поющего, и он поет, но поет все же извне – как заглянувший и все же вернувшийся. В его созерцаниях и медитациях много парадоксальной и эстетически пронзительной философичности. Тракль же весь – в самих биоритмах этой мессы, столь же плотски-языческой, сколь и астрально-серафичной; внутри процесса, внутри состояния, одновременно и динамичного, и константного, неодолимо фатального и возвратного. И умершие, и нерожденные, и живые здесь в равной мере и неотвратимо-реальны, и условно-призрачны. Грани между есть и не-есть весьма размыты, и размыты не по причинам восприятия или всяких там обстоятельств, а размыты в корневых ритмах вещей. Здесь лежит метафизическая тайна, вследствие которой логика «Гелиана» столь необъяснимо причудлива и столь изысканна.

Потрясающа гибель рода людского и рода.  
В этот час созерцателя очи золотом звезд его полны.

Вечером тонет игра колокольная, только беззвучье.  
Черные стены на площади рушатся.  
Мертвый солдат призывает к молитве.

Ангелом бледным  
сын возвращается в дом своих предков, тот – пуст.

И вот, уже не из «Гелиана»:

Ответь мне, где же мы были,  
когда проплывали мимо  
вечером в черной лодке?..

Поэту неясно, абсолютно неизвестно, где он с сестрой. Что это за измерение, из которого он всматривается в «этот мир», где горят георгины вдоль старого палисадника, как священные светильники в царстве смутных сумеречных троп, троп из священства сумерек в еще более неведомое священство предрасветности.

В даль среброликую к старцам сёстры ушли незаметно.  
Ночью спавший нашел их под колоннадой в прихожей –  
только что возвратились с грустных  
паломничеств дальних.

Но в волосах у них – грязь, нечистоты и черви!  
Это он видит, стоя вблизи; в серебре его ноги.  
А в это время из комнат пустых ускользают умершие тихо.

О, эти псалмы их в огненном шуме дождя полуночном!  
Мерно холопы хлещут их кроткие очи крапивой;  
детские кисти бузинные изумленно склонились  
над опустевшей могилой.

Тихо свершают свой круг пожелтевшие луны  
по лихорадке простынной того, кто еще только отрок;  
не подступили покуда безмолвные зимы.

О, эти псалмы в шуме ночного дождя, псалмы умерших, кото-  
рые тихо вышли из пустых комнат. Вышли сами. Ибо мы сами  
приходим и уходим. Равно и Тракль пришел в поэзию и ушел  
из нее сам. Где же находимся мы, проплывающие сейчас мимо  
него в нашей черной лодке?

## ПЕСНЬ ОТРЕШЕННОГО (ХРОНИКА ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА)

Тракль родился 3 февраля 1887 года в Зальцбурге, на родине Моцарта, в семье преуспевающего купца, доброго, общительного человека швабско-мадярского происхождения. Никаких намеков на будущий трагический перелом детство Георга не давало. Будучи четвертым ребенком во вполне благополучной и притом высококультурной семье, обосновавшейся в большом уютном доме, мальчик имел необходимую гармонию между вниманием к себе и возможностью не особенно привлекать к себе внимания. Знаков свободы было довольно. Был он, по воспоминаниям современников, «солнечным мальчиком, обходительным, но и готовым к любой шалости». И вдруг резкий перелом. Влюбленный в природу и в книги, в беготню и в импровизации за роялем (в концертах особенно внимательный к Шопену и Вагнеру), он с четырнадцати лет стремительно меняется почти до неузнаваемости, словно вечные сумерки входят в его глаза, словно он получает некую весть, которая не может не опалить его, не перевернуть его основы. С какого-то момента он все оставшиеся ему стремительные годы экстатически тоскует по неизвестной родине. Что и становится его тайной... Приступы меланхолии, глубочайших уходов в себя. С годами усиливающееся чувство одиночества, своей инородности миру, эпохе, ощущение себя «Пришельцем». Теряет интерес к учебе в гимназии. Как следствие – оставлен на второй год. Первые приступы «пофигизма» и бегства в «богемный» стиль. Чтение «Цветов зла» Ш. Бодлера.

В сентябре 1905 года – отчисление из гимназии. Дата, от которой биографы обычно отталкиваются, чтобы сообщить о начале «падения» Георга: приобщения к наркотикам, вину, устремленности к темам смерти, самоубийства, к тайне перехода в потустороннее измерение. Но, безусловно, причиной всего этого было отнюдь не то, что называется «социальный дискомфорт». Очевиден метафизический уклон его тоски, забросив-

шей глубокий лот в тему утраченной гармонии полов, андрогинизма, когда-то хранившего «единый пол/род».

Стихи периода 1905–1908 годов исполнены напряженных, мрачных образов, где активна мистика цветовых ощущений. Чтение Ленау, Бодлера, Георге, Гофманшталя, Рильке. В конце 1906 года юный поэт представил своему другу Эрхарду Бушбеку сборник из 50 стихотворений. В марте 1906 г. в зальцбургском театре состоялась премьера одноактной пьесы Тракля «Поминальный день», герой которой, страстно влюбленный в девушку Грету, в финале кончает с собой.

Существует миф (документально не подкрепленный) об инцестуальных порывах Георга к сестре Грете, младшей его на пять лет. Поводом к этому мифу стала нежная влюбленность поэта в сестру, в которой он видел олицетворение всего лучшего, что потенциально сущностно в женщине. Франц Брукбауэр рассказывает, что уже в гимназические годы сестра была для Георга «самой прекрасной девушкой», «великой пианисткой», «редкостным существом». Вероятно, поэт самоощущал сестру мистической силой, дополняющей его до духовной целостности из измерения платоновского мифа. Считается, что брат вольно или невольно приохотил сестру к наркотикам.

Осенью 1908 года Георг поступает в Венский университет по специальности «фармацевтика», на что, быть может, повлиял недавний опыт его работы в зальцбургской аптеке «У белого ангела». Год спустя Грета поступает в Венскую музыкальную академию. Особенно хорошо она играла любимого ею Шопена и русских романтиков. Сам Тракль тоже нередко часами просиживал за роялем, странствуя в Шопене, Листе и Вагнере. В июле 1912 г. Грета выходит замуж за бухгалтера, человека много старше себя. Брак быстро обнаружил множество трещин и несовместимостей. Интенсивные душевные, в известном смысле мистические, отношения с братом сохраняются вплоть до его гибели.

В 1909–1910 годах поэт Тракль обретает полноту собственного стиля. Переживает творческий подъем. В 1909-м – газетные публикации стихотворений «Три пруда в Хельбрунне» и «Кладбище Святого Петра». Гротескная фантастика стихов

неизменно поражала литературных друзей поэта. «До самой смерти он боялся полного провала в безумие», – Э. Мархольд. В 1910-м заканчивает университетский курс фармацевтики и поступает добровольцем на одногодичную военную службу. Ощущение одиночества углубляется. «Я хотел бы полностью где-нибудь укрыться и сделаться невидимкой». Чувство «мирового страха». Смена контрастных порывов: то к монашеской аскезе, то к дионисийской раскованности. Неудачные попытки устроиться на работу и тем вписаться в социум.

Май 1912 года – начало сотрудничества с журналом «Бреннер», где были опубликованы важнейшие его стихи. Встреча с Людвигом фон Фикером (издателем журнала), ставшим для Георга другом и покровителем. Второй сборник стихов «Сумерки и распад» одно известное мюнхенское издательство отклонило. В январе 1913 был завершен «Гелиан» – одно из самых магически впечатляющих стихотворений XX века. В этом же году вышел в свет в Лейпциге сборник «Стихи». В августе Георг совершает поездку в Венецию. В октябре публикует «Грезящего Себастьяна».

Январь грозно-отчаянного 1914-го обозначен фантазией в прозе «Сон и затмение». В июле Людвиг фон Фикер неожиданно получает от мецената, пожелавшего остаться инкогнито (им, как позднее выяснилось, был философ Людвиг Витгенштейн), сто тысяч крон для нуждающихся писателей. Издатель выделил по 20 тысяч Траклю и Рильке. Впрочем, Тракль не воспользовался этими деньгами. Когда он пришел в банк, чтобы снять со счета часть суммы, его охватил такой внезапный страх, что он буквально выбежал из здания. Всё свое имущество, и деньги в том числе, он завещал Грете.

Развершаяся мировая война поглотила Георга в свое бездонное чрево. Он был немедленно мобилизован и 24 августа 1914 года отправлен на фронт. Брошен в пекло страшного боя за Гродек под Краковом. Ужасы бойни и ужасы госпитальные доводят его до попыток самоубийства, после чего он был отправлен в краковский госпиталь для обследования на предмет психического состояния. Здесь он и скончался (3 ноября) от сердечного паралича как следствия передозировки кокаина

(случайной или намеренной – неизвестно). 6 ноября похоронен на Раковицком кладбище в Кракове в присутствии своего денщика.

После смерти Георга его сестра Грета впадает в глубочайшую депрессию, ее не покидает чувство полной неприкаянности. Спустя три года (21 ноября 1917 года) она сводит счеты с жизнью, застрелившись из пистолета. Было ей на тот момент 25 лет.

В 1925 году останки поэта были перезахоронены в любимом им Тироле под Инсбруком на кладбище религиозной общины Мюлау.

ГЕОРГ ТРАКЛЬ

ГРЕЗЯЩИЙ ГЕЛИАН

ИЗБРАННЫЕ СТИХИ

## AM RAND EINES ALTEN BRUNNENS

### 2. FASSUNG

Dunkle Deutung des Wassers: Zerbrochene Stirne im Munde der Nacht,  
Seufzend in schwarzem Kissen des Knaben bläulicher Schatten,  
Das Rauschen des Ahorns, Schritte im alten Park,  
Kammerkonzerte, die auf einer Wendeltreppe verklingen,  
Vielleicht ein Mond, der leise die Stufen hinaufsteigt.  
Die sanften Stimmen der Nonnen in der verfallenen Kirche,  
Ein blaues Tabernakel, das sich langsam auftut,  
Sterne, die auf deine knöchernen Hände fallen,  
Vielleicht ein Gang durch verlassene Zimmer,  
Der blaue Ton der Flöte im Haselgebüsch – sehr leise.

## НА КРАЮ СТАРОГО ФОНТАНА

### 2-Я РЕДАКЦИЯ

Смутные знаки воды: в пасти ночи разбитые лбы,  
вздохи на черной подушке синих отрока теней,  
шорохи клена, шаги в заброшенном парке,  
звуки концерта замирают на лестнице в доме,  
а может, это луна, тихо взбираясь, считает ступени.  
Нежное пенье монашек в ветшающей церкви,  
голубая с дарами святыми шкатулка, чьи медленны створы,  
звезды, что падают сверху в костяшки ладоней,  
быть может, скольженье сквозь пустотность покинутых комнат,  
голубая мелодия флейты в орешнике – тихо-тихо.

## UNTERWEGS

Am Abend trugen sie den Fremden in die Totenkammer;  
Ein Duft von Teer; das leise Rauschen roter Platanen;  
Der dunkle Flug der Dohlen; am Platz zog eine Wache auf.  
Die Sonne ist in schwarze Linnen gesunken;  
immer wieder kehrt dieser vergangene Abend.  
Im Nebenzimmer spielt die Schwester eine Sonate von Schubert.  
Sehr leise sinkt ihr Lächeln in den verfallenen Brunnen,  
Der bläulich in der Dämmerung rauscht. O, wie alt ist unser Geschlecht.  
Jemand flüstert drunten im Garten;  
jemand hat diesen schwarzen Himmel verlassen.  
Auf der Kommode duften Äpfel. Grossmutter zündet goldene Kerzen an.

O, wie mild ist der Herbst. Leise klingen unsere Schritte im alten Park  
Unter hohen Bäumen.  
O, wie ernst ist das hyazinthene Antlitz der Dämmerung.  
Der blaue Quell zu deinen Füßen,  
geheimnisvoll die rote Stille deines Munds,  
Umdüstert vom Schlummer des Laubs,  
dem dunklen Gold verfallener Sonnenblumen.  
Deine Lider sind schwer von Mohn und träumen leise auf meiner Stirne.  
Sanfte Glocken durchzittern die Brust. Eine blau Wolke  
Ist dein Antlitz auf mich gesunken in der Dämmerung.

## В ПУТИ

Вечером чужеземца отнесли они в камеру мертвых;  
смог ароматы; шелест чуть слышный  
красных платанов;  
смутные галок пролеты; на плацу меняется стража.  
Солнце в черноты холста льняного укрылось;  
снова и снова возвращается этот исчезнувший вечер.  
В комнате рядом – сестра за роялем: Шуберт, соната.  
Кротко тонет улыбка ее в обветшавшем фонтане;  
в сумерках он шелестит, чуть-чуть голубея.  
О, как стар род наш древний!  
За окошком в саду – кто-то шепчет кому-то;  
кто-то покинул уже это черное небо.  
Яблоки на комод, как они пахнут!  
Бабушка зажигает золотистые свечи.

Как нежна эта осень! Тихозвучны наши шаги  
в этом парке старинном, возле высоких деревьев.  
Как серьезен гиацинтовых сумерек облик.  
Синий родник – у твоих ног;  
как таинственна алая тишь твоих губ,  
уходящих в сумрак дремотный листвы, в темное злато  
этих подсолнухов низко склоненных. Веки твои,  
маковой тяжестью полны, грезят на лбу моем кротко.  
Грудь просквозает колокольная нежность.  
Облаком синим опускается твой силуэт на меня  
в этих сумерках ранних.



## VORHÖLLE

An herbstlichen Mauern, es suchen Schatten dort  
Am Hügel das tönende Gold  
Weidende Abendwolken  
In der Ruh verdorrter Platanen.  
Dunklere Tränen odmet diese Zeit,  
Verdammnis, da des Träumers Herz  
Ueberfließt von purpurner Abendröte,  
Der Schwermut der rauchenden Stadt;  
Dem Schreitenden nachweht goldene Kühle,  
Dem Fremdling, vom Friedhof,  
Als folgte im Schatten ein zarter Leichnam.

Leise läutet der steinerne Bau;  
Der Garten der Waisen, das dunkle Spital,  
Ein rotes Schiff im Kanal.  
Träumend steigen und sinken im Dunkel  
Verwesende Menschen  
Und aus schwärzlichen Toren  
Treten Engel mit kalten Stirnen hervor;  
Bläue, die Todesklagen der Mütter.  
Es rollt durch ihr langes Haar,  
Ein feuriges Rad, der runde Tag  
Die Erde Qual ohne Ende.

## ЧИСТИЛИЩЕ

У осенних каменных стен искания теней.  
Возле холма золота звучность.  
Пасутся вечерние облака  
В тишине засохших платанов.  
Это время опустошает меркнущие слезы,  
То кара, когда сердце мечтателя  
Переполюняемо пурпуром вечерней зари,  
Тоской коптящих городов;  
Путника овеивает сзади золотая прохлада,  
То пришелец, с кладбища,  
Тенью следует за ним чуткий покойник.

Нежно звучанье каменной кладки;  
Сиротский сад, сумрачная больница,  
Красное судёнышко на канале.  
Грезят в подъемах и в погруженьях  
Во мраке гниющие люди,  
А из затемненных ворот  
Выходят ангелы с холодными лбами;  
Небесная лазурь, матерей смертные плачи.  
По их долгим волосам катится  
Пылающее колесо, круглый день,  
Земная мука без конца и края.

In kühlen Zimmern ohne Sinn  
Modert Gerät, mit knöchernen Händen  
Tastet im Blau nach Märchen  
Unheilige Kindheit,  
Benagt die fette Ratte Tür und Truh,  
Ein Herz  
Erstarrt in schneeiger Stille.  
Nachhallen die purpurnen Flüche  
Des Hungers in faulendem Dunkel,  
Die schwarzen Schwerter der Lüge,  
Als schlüge zusammen ein ehernes Tor.

В прохладных комнатах без смысла и без чувства  
Разлагается утварь, худющими руками  
Вослед за сказками ощупывает синеву  
Безбожное детство,  
Жирные крысы грызут сундуки и двери,  
Сердце  
Коченеет в заснеженной тишине.  
В протухающем сумраке эхом  
Расходятся пурпурные голода проклятья,  
Черные мечи лжи,  
Что, вгрызаясь, ломятся в железные ворота.

\* \* \*

O das Wohnen in der Stille des dämmernden Gartens,  
Da die Augen der Schwester sich rund und dunkel im Bruder aufgetan,  
Der Purpur ihrer zerbrochenen Münder  
In der Kühle des Abends hinschmolz.  
Herzzerreissende Stunde.

September reifte die goldene Birne. Süsse von Weihrauch  
Und die Georgine brennt am alten Zaun  
Sag! wo waren wir, da wir auf schwarzem Kahn  
Im Abend vorüberzogen,

Darüberzog der Kranich. Die frierenden Arme  
Hielten Schwarzes umschlungen, und innen rann Blut.  
Und feuchtes Blau um unsre Schläfen. Arm' Kindlein.  
Tief sinnt aus wissenden Augen ein dunkles Geschlecht.

\* \* \*

О тишина проживанья в сумеречности сада,  
где очи сестры изумлённы и таинственно-тёмны  
и всматриваются в брата.

Пурпур ртов их истерзан  
и тает в вечерней прохладе.  
Сердце рвущее время.

Дар сентября – золото груш. Ладана тихая сладость;  
вдоль палисадника старого – горящие георгины.  
О, расскажи, где мы были, когда проплывали мимо  
вечером в черной лодке?

Журавль проплывал над нами. Зябнущие руки  
черноту обнимали, а в глубине ее – кровь текла  
и устремлялась куда-то.  
Влажная синева касалась наших висков и затылков.  
О, мой бедный ребенок.  
Из очей твоих мудрых из глубины волхвует  
пол единый и смутный.

## AN DIE SCHWESTER

Wo du gehst wird Herbst und Abend,  
Blaues Wild, das unter Bäumen tönt,  
Einsamer Weiher am Abend.

Leise der Flug der Vögel tönt,  
Die Schwermut über deinen Augenbogen.  
Dein schmales Lächeln tönt.

Gott hat deine Lider verbogen.  
Sterne suchen nachts, Karfreitagkind,  
Deinen Stirnenbogen.

## СЕСТРЕ

Куда ни войдешь ты, там осень и вечер,  
синяя дикая птица, поющая в роще,  
маленький пруд, одинокий, вечерний.

Птичий полет, тихо-тихо звенящий.  
О, как печальны глазные излучки.  
Робкой улыбки чуть слышное пенье.

Бог, это он изогнул твои веки.  
Звезды ночами, Голгофы ребенок,  
ищут твои ввысь летящие брови.

## SOMMERSNEIGE

Der grüne Sommer ist so leise  
Geworden, dein kristallenes Antlitz.  
Am Abendweiher starben die Blumen,  
Ein erschrockener Amselruf.

Vergebliche Hoffnung des Lebens. Schon rüstet  
Zur Reise sich die Schwalbe im Haus  
Und die Sonne versinkt am Hügel;  
Schon winkt zur Sternenreise die Nacht.

Stille der Dörfer; es tönen rings  
Die verlassenen Wälder. Herz,  
Neige dich nun liebender  
Über die ruhige Schläferin.

Der grüne Sommer ist so leise  
Geworden und es läutet der Schritt  
Des Fremdlings durch die silberne Nacht.  
Gedächte ein blaues Wild seines Pfads,

Des Wohllauts seiner geistlichen Jahre!

## ИСТАЯЛО ЛЕТО

Зеленое лето истаяло так незаметно;  
лик твой хрустален.  
Смерть приняли молча цветы у вечернего пруда.  
Испуганны зовы дрозда.

Жизни надежда напрасна. Ласточка в доме  
в путь собирается дальний.  
В холм погружается солнце;  
ночь уже намекает о странствиях звездных.

Тихи деревни; звучно окрашены,  
всеми покинуты, рощи.  
Сердце – нежнее, покорней склонись  
над невинно уснувшей.

Зеленое лето истаяло так незаметно;  
звонок шаг чужеземца  
в серебряной нóчи.  
Запомни тропы его дикой синюю птицу,

блаженное пенье его молитвенной жизни!

## JAHR

Dunkle Stille der Kindheit. Unter grünenden Eschen  
Weidet die Sanftmut bläulichen Blickes; goldene Ruh.  
Ein Dunkles entzückt der Duft der Veilchen; schwankende Aehren  
Im Abend, Samen und die goldenen Schatten der Schwermut.  
Balken behaut der Zimmermann; im dämmernden Grund  
Mahlt die Mühle; im Hasellaub wölbt sich ein purpurner Mund,  
Männliches rot über schweigende Wasser geneigt.  
Leise ist der Herbst, der Geist des Waldes; goldene Wolke  
Folgt dem Einsamen, der schwarze Schatten des Enkels.  
Neige in steinernem Zimmer; unter alten Zypressen  
Sind der Tränen nächtige Bilder zum Quell versammelt;  
Goldenes Auge des Anbeginns, dunkle Geduld des Endes.

## Год

Туманная тишина детства. Под зеленеющими ясенями  
Кротко пасутся голубые очи; золотой покой.  
Смутное нечто в восхищении от аромата фиалок;  
колеблющиеся колосья  
По вечерам, семена и золотые тени тоски.  
Над бревнами плотник с топором; в сумеречной долине  
Работает мельница; в гуще лещины светится пурпурный рот,  
Алая мужественность склонилась над молчаливой водой.  
Тихая осень, дух леса; облака золотые  
Следуют за Одиноким, тень черная внука.  
Поклоны в окаменевшей комнате; под старыми кипарисами  
Образами ночными слезы собираются в источник;  
Золотое око начала, сумеречное терпение конца.

## KASPAR HAUSER LIED

*Für Bessie Loos*

Er wahrlich liebte die Sonne,  
die purpurn den Hugel hinabstieg,  
Die Wege des Walds, den singenden Schwarzvogel  
Und die Freude des Grüns.

Ernsthaft war sein Wohnen im Schatten des Baums  
Und rein sein Antlitz.  
Gott sprach eine sanfte Flamme zu seinem Herzen:  
O Mensch!

Stille fand sein Schritt die Stadt am Abend;  
Die dunkle Klage seines Munds:  
Ich will ein Reiter werden.

Ihm aber folgte Busch und Tier,  
Haus und Dämmergarten weisser Menschen  
Und sein Mörder suchte nach ihm.

Frühling und Sommer und schön der Herbst  
Des Gerechten, sein leiser Schritt  
An den dunklen Zimmern Träumender hin.  
Nachts blieb er mit seinem Stern allein;

Sah, daß Schnee fiel in kahles Gezweig  
Und im dämmernden Hausflur den Schatten des Mörders.

Silbern sank des Ungeborenen Haupt hin.

## ПЕСНЬ О КАСПЕРЕ ХАУЗЕРЕ

*Бессу Лоос*

Он истово солнце любил,  
когда оно пурпуром холм обнимало,  
любил лесные тропинки, поющую черную птицу,  
радость зеленого света.

Под тенью дерев он жил так серьезно,  
был лик его чистым.  
То Бог раздувал в его сердце нежное пламя  
воспеть человека.

Однажды под вечер он сам не заметил, как в город вошел  
с таинственным зовом в устах:  
всадником должен я стать непременно!

Внимали деревья ему, внимали и звери,  
и дом, и сумрачный сад, где жили белые люди,  
но крался по следу уже и убийца.

Весна, за ней лето, прекрасна и осень  
для тех, кто правдивы; как тих ее шаг  
возле комнат туманных мечтателя; ночью  
он здесь оставался один на один со своею звездою.

Смотрел он, как падает снег на голые ветви,  
а в призрачных сумерках сеньей – убийцы тень колыхалась.

Серебряным светом глава Нерожденного пала.

## GEISTLICHE DÄMMERUNG

### 2. FASSUNG

Stille begegnet am Saum des Waldes  
Ein dunkles Wild;  
Am Hügel endet leise der Abendwind,

Verstummt die Klage der Amsel,  
Und die sanften Flöten des Herbstes  
Schweigen im Rohr.

Auf schwarzer Wolke  
Befährst du trunken von Mohn  
Den nächtigen Weiher,

Den Sternenhimmel.  
Immer tönt der Schwester mondene Stimme  
Durch die geistliche Nacht.

## СВЯЩЕННЫЕ СУМЕРКИ

### 2-я РЕДАКЦИЯ

Тишина на опушке лесной  
обнимает смутного зверя.  
У холма тихо ветер вечерний скончался.

Дрозд устал от стенаний и плачей.  
Нежные осени флейты  
в тростнике приумолкли.

Опьяневши от мака,  
на облаке черном плыву  
по ночного озера глубям,

по звездному небу.  
Лунный голос сестры неумолчно поёт,  
заполняя священную ночь.

## LEBENSALTER

Geistiger leuchten die wilden  
Rosen am Gartenzaun;  
O stille Seele!

Im kühlen Weinlaub weidet  
Die kristallne Sonne;  
O heilige Reinheit!

Es reicht ein Greis mit edlen  
Händen gereifte Früchte.  
O Blick der Liebe!

## ВОЗРАСТЫ ЖИЗНИ

Духосвечением дикие розы сияют  
возле садовой ограды.  
Душа тишиною укрыта.

В виноградника темной прохладе  
хрустальное солнце пасётся.  
Чистота, ее святость!

Старика благородные руки  
подают мне спелые фрукты.  
Сколько любви в его взгляде!

## AN EINEN FRÜHVERSTORBENEN

O, der schwarze Engel,  
der leise aus dem Innern des Baums trat,  
Da wir sanfte Gespielen am Abend waren,  
Am Rand des bläulichen Brunnens.  
Ruhig war unser Schritt, die runden Augen  
in der braunen Kühle des Herbstes,  
O, die purpurne Süße der Sterne.

Jener aber ging die steinernen Stufen  
des Mönchsbergs hinab,  
Ein blaues Lächeln im Antlitz und seltsam verpuppt  
In seine stillere Kindheit und starb;  
Und im Garten blieb das silberne Antlitz  
des Freundes zurück,  
Lauschend im Laub oder im alten Gestein.

Seele sang den Tod, die grüne Verwesung des Fleisches  
Und es war das Rauschen des Walds,  
Die inbrünstige Klage des Wildes.  
Immer klangen von dämmernden Türmen  
die blauen Glocken des Abends.

Stunde kam, da jener die Schatten in purpurner Sonne sah,  
Die Schatten der Fäulnis in kahlem Geäst;  
Abend, da an dämmernder Mauer die Amsel sang,  
Der Geist des Frühverstorbenen stille im Zimmer erschien.

## ОДНОМУ РАНОУШЕДШЕМУ

О, черный ангел, ты вышел неслышно из древа глубин,  
когда мы, кроткие в дружбе юнцы, в игры играли  
близ вод голубевших фонтана.  
Покой был в наших движеньях,  
глаза изумленно глядели  
в вечернюю темную желть осенней прохлады.  
О, пурпур сладости звездной!

Но тот, кто Другим был, по склону Монашьей горы  
ступенями каменных лестниц спускался.  
Играла улыбка – небесный ответ в лице и, странно  
окуклившись в тихие детства затоны, он умер,  
оставив в саду серебряный облобок друга;  
Из мрака листвы, из древних камней  
он всё еще слушает нас.

Душа воспевала смерть, зеленое тление плоти,  
ей вторил шелест лесов,  
страстные жалобы птиц.  
Вечерних колоколов голубой перезвон не кончался.

Но пробил вдруг час: сквозь пурпурность солнца  
он тени наши заметил,  
тленные тени сквозь голость ветвей.  
Внезапная песня в сумерках каменных стен: черный дрозд.  
Призрак рано ушедшего в комнату тихо ступил.

O, das Blut, das aus der Kehle des Tönenden rinnt,  
Blaue Blume; o die feurige Träne  
Geweint in die Nacht.

Goldene Wolke und Zeit. In einsamer Kammer  
Lädst du öfter den Toten zu Gast,  
Wandelst in traurem Gespräch  
unter Ulmen den grünen Fluss hinab.

О кровь, что струится из горла мелодией вне разрывов!  
О голубой цветок! Жаркие слезы –  
прóлиты в Ночь!

Золото облаков, времени зыбь. В одинокую комнату  
засываю покойного чаще и чаще.  
Все доверчивей наша беседа, когда бок о бок бредем,  
опускаясь под вязы все ниже по теченью зеленой реки.

## ANIF

Erinnerung: Möven, gleitend über den dunklen Himmel  
Männlicher Schwermut.

Stille wohnst du im Schatten der herbstlichen Esche,  
Versunken in des Hügels gerechtes Maß;

Immer gehst du den grünen Fluss hinab,  
Wenn es Abend geworden,  
Tönende Liebe; friedlich begegnet das dunkle Wild,

Ein rosiger Mensch. Trunken von bläulicher Witterung  
Rührt die Stirne das sterbende Laub  
Und denkt das ernste Antlitz der Mutter;  
O, wie alles ins Dunkel hinsinkt;

Die gestrengen Zimmer und das alte Gerät  
Der Väter.  
Dieses erschüttert die Brust des Fremdlings.  
O, ihr Zeichen und Sterne.

Groß ist die Schuld des Geborenen.  
Weh, ihr goldenen Schauer  
Des Todes,  
Da die Seele kühlere Blüten träumt.

Immer schreit im kahlen Gezweig der nächtliche Vogel  
Über des Mondenen Schritt,  
Tönt ein eisiger Wind an den Mauern des Dorfs.

## АНИФ

Помню: чайки скользят под небом туманным  
тоски человеческой.  
Тихо живешь ты, осеннего ясеня тенью укрытый,  
в Холм погруженный, в праведность его меры.

Неудержимо скользишь вниз по зеленой реке,  
раз здесь свершается Вечер,  
при звуках и красках любви. Кротко навстречу  
движется зверь непостижный,

человек, сияя румянцем. Пьяный от свежести синей,  
лбом прикасаясь к мертвой листве,  
матери лик вспоминаешь заботливо-строгий.  
Исчезновенно здесь всё, во тьму погружаясь!

Торжественность комнат и старые праотцев вещи.  
Смятенное сердце пришельца.  
Эти знаки и звезды!

Как безмерно виновен рожденный.  
О, эта дрожь, золотая, благоговейная,  
смерти.  
В хладе цветенья душа не о ней ли задумчиво грезит?

Неотступно кричит в голых ветвях  
птица ночная, поверху лунного хода.  
Звонко стучит ветр ледяной о стены изб деревенских.

## ГЕБУРТ

Gebirge: Schwärze, Schweigen und Schnee.  
Rot vom Wald niedersteigt die Jagt;  
O, die moosigen Blicke des Wilds.

Stille der Mutter; unter schwarzen Tannen  
öffnen sich die schlafenden Hände,  
Wenn verfallen der kalte Mond erscheint.

O, die Geburt des Menschen. Nächtlich rauscht  
Blaues Wasser im Felsengrund;  
Seufzend erblickt sein Bild der gefallene Engel,

Erwacht ein Bleiches in dumpfer Stube.  
Zwei Monde  
Erglänzen die Augen der steinernen Greisin.

Weh, der Gebärenden Schrei. Mit schwarzem Flügel  
Rührt die Knabenschläfe die Nacht,  
Schnee, der leise aus purpurner Wolke sinkt.

## Роды

Горы: черноты, безмолвие, снег.  
Пурпурность леса в погоню с вершины;  
О, сколь мшисты взоры дикого зверя и птицы.

Тишина материнства; под сумраком елей  
Раскрываются спавшие руки,  
Если явится вдруг в ущербе луна ледяная.

Человека рожденье! По ночам журчит здесь  
Вода голубая, утекая в скальные глубины;  
Падший ангел в стенаньях образ свой созерцает,

Просыпается Бледность в душевной камерке.  
Две луны  
Озаряют глаза окаменевшей старухи.

Боль, роженицы крик. Своим черным крылом  
Ночь коснулась детской головки,  
Белый снег опускается тихо из пурпура тучи.

## FRÜHLING DER SEELE

Aufschrei im Schlaf;  
durch schwarze Gassen stürzt der Wind,  
Das Blau des Frühlings winkt durch brechendes Geäst,  
Purpurner Nachttau und es erlöschen rings die Sterne.  
Grünlich dämmert der Fluss, silbern die alten Alleen  
Und die Türme der Stadt. O sanfte Trunkenheit  
Im gleitenden Kahn und die dunklen Rufe der Amsel  
In kindlichen Gärten. Schon lichtet sich der rosige Flor.

Feierlich rauschen die Wasser.  
O die feuchten Schatten der Au,  
Das schreitende Tier; Grünendes, Blütengezweig  
Rührt die kristallene Stirne; schimmernder Schaukelkahn.  
Leise tönt die Sonne im Rosengewölk am Hügel.  
Gross ist die Stille des Tannenwalds,  
die ernsten Schatten am Fluß.

Reinheit! Reinheit! Wo sind die furchtbaren Pfade des Todes,  
Des grauen steinernen Schweigens, die Felsen der Nacht  
Und die friedlosen Schatten? Strahlender Sonnenabgrund.

Schwester, da ich dich fand an einsamer Lichtung  
Des Waldes und Mittag war und gross das Schweigen des Tiers;  
Weiße unter wilder Eiche, und es blühte silbern der Dorn.  
Gewaltiges Sterben und die singende Flamme im Herzen.

## ВЕСНА ДУШИ

Вскрики во сне; по черным проулкам мечется ветер.  
В прорывах ветвей зовы сини весенней.  
Ночная роса, ее пурпур; медленно звездочки гаснут.  
Брезжит зелень реки, серебрятся старинно аллеи,  
храмы на улицах, башни. О хмелящая нежность  
ускользания в лодке; о черный дрозд, зовы твои  
были так смутны в детства садах...  
И вот уж их розовый пух развеян бесследно.

Величаво воды журчат. Влажные тени долины;  
мягко ступающий зверь; зелень; ветви в цвету –  
прикосновение к хрустальности лба;  
мерцание лодки в волнах.  
Тихо солнце поет в розовых тучах на всхолмье.  
Велико молчанье елового леса;  
как тени серьезные в реке!

Чистота! Всюду только она! Где же вы –  
ужасы троп смертоносных,  
риффы ночные, безмолвие серых камней, бесприютные  
тени? Солнечно светится бездна.

Сестра, я нашел тебя на заброшенной просеке в чаще,  
в полдень то было и было великим молчание зверя.  
Белизна под заброшенным дубом, цвел серебристый терновник.  
Безмерная мощь умиранья и пламя, поющее в сердце.

Dunkler umfliessen die Wasser die schönen Spiele der Fische.  
Stunde der Trauer, schweigender Anblick der Sonne;  
Es ist die Seele ein Fremdes auf Erden. Geistlich dämmert  
Bläue über dem verhauenen Wald und es läutet  
Lange eine dunkle Glocke im Dorf; friedlich Geleit.  
Stille blüht die Myrthe über den weissen Lidern des Toten.

Leise tönen die Wasser im sinkenden Nachmittag  
Und es grünnet dunkler die Wildnis am Ufer, Freude im rosigen Wind;  
Der sanfte Gesang des Bruders am Abendhügel.

В водах вечерних тают рыб прекрасные игры.  
Час щемящей печали; молчаливый взор солнца;  
вот она, душенька наша: на Земле чужестранка.  
Синева дышит духом, грезит над поваленным лесом;  
долго звучит над деревней колокол; отпеванье;  
мирт тихонько расцвёл над покойника белыми веками.

Медленно воды журчат, по течению дня ускользя.  
В сумраке чуть зеленеют заросли возле реки,  
в розовом ветре – радость. Нежное пенье монаха  
на Холме предзакатном.

AN NOVALIS

1. FASSUNG

Ruhend in kristallner Erde, heiliger Fremdling  
Vom dunklen Munde nahm ein Gott ihm die Klage,  
Da er in seiner Blüte hinsank  
Friedlich erstarb ihm das Saitenspiel  
In der Brust,  
Und es streute der Frühling seine Palmen vor ihn,  
Da er mit zögernden Schritten  
Schweigend das nächtige Haus verließ.

НОВАЛИСУ

1-я РЕДАКЦИЯ

Упокоен в хрустальной земле священный пришелец.  
С уст затуманенных принял плач его Бог,  
Когда уходил в погруженье он в полном расцвете.  
Мирно и смертно смолкли  
В груди его струны,  
Пальмы свои стелила весна перед ним,  
Когда он дом свой ночной покидал  
Робкой походкой, в полном молчанье.

AN NOVALIS

2. FASSUNG (A)

In dunkler Erde ruht der heilige Fremdling.  
Es nahm von sanftem Munde ihm die Klage der Gott,  
Da er in seiner Blüte hinsank.  
Eine blaue Blume  
Fortlebt sein Lied im nächtlichen Haus der Schmerzen.

НОВАЛИСУ

2-я РЕДАКЦИЯ (А)

В темной земле отдыхает священный Пришелец.  
С уст его нежных принял плачи сам Бог,  
Дав погрузиться вглубь своих ароматов.  
Цветок голубой  
Песнь его продолжает в ночном обителище боли.

## KINDHEIT

Voll Früchten der Hollunder; ruhig wohnte die Kindheit  
In blauer Höhle. Über vergangenen Pfad,  
Wo nun bräunlich das wilde Gras saust,  
Sinnt das stille Geäst; das Rauschen des Laubs

Ein gleiches, wenn das blaue Wasser im Felsen tönt.  
Sanft ist der Amsel Klage. Ein Hirt  
Folgt sprachlos der Sonne, die vom herbstlichen Hügel rollt.

Ein blauer Augenblick ist nur mehr Seele.  
Am Waldsaum zeigt sich ein scheues Wild und friedlich  
Ruhn im Grund die alten Glocken und finsternen Weiler.

Frömmer kennst du den Sinn der dunklen Jahre,  
Kühle und Herbst in einsamen Zimmern;  
Und in heiliger Bläue läuten leuchtende Schritte fort.

Leise klirrt ein offenes Fenster; zu Tränen  
Rührt der Anblick des verfallenen Friedhofs am Hügel,  
Erinnerung an erzählte Legenden; doch manchmal erhellt sich die Seele,  
Wenn sie frohe Menschen denkt, dunkelgoldene Frühlingstage.

## ДЕТСТВО

Усыпана плодами бузина; блаженно жительство ребенка  
В лазури грота. Над бывшею тропею,  
Где травы дикие шуршат, где сумрачная прожелть,  
В раздумьях кроны тихие; там лепет лиственный,

Там нежный плач, как будто пенье горных струй  
Лазоревых – то черный дрозд! В безмолвье  
Пастух следит, как катится с холма светило.

Миг голубой – тот, где чуть поболее души.  
Зверь осторожный на лесной опушке, а в долине –  
Покой колоколов старинных, селений кроткая печаль.

Лет этих смутных всё смиренней открываешь смысл,  
Как эту осень пустынных и прохладных комнат;  
Где в синь священную уходит пение шагов.

Вот с легким звоном окно отворено; до влаги в оке  
Погост старинный созерцаешь, что к холму преник,  
Легенды вспоминаешь, но бывает, вдруг в душу хлынет свет:  
То память радости, весенняя пора укромно-золотая.

## ZU ABEND MEIN HERZ

Am Abend hört man den Schrei der Fledermäuse.  
Zwei Rappen springen auf der Wiese.  
Der rote Ahorn rauscht.  
Dem Wanderer erscheint die kleine Schenke am Weg.  
Herrlich schmecken jünger Wein und Nüsse.  
Herrlich: betrunken zu taumeln in dämmernden Wald.  
Durch schwarzes Geäst tönen schmerzliche Glocken.  
Auf das Gesicht tropft Tau.

## ВЕЧЕРНЕЕ СЕРДЦЕ МОЁ

Завечерело: мышей летучих слышу вскрики.  
Вон пара вороных резвится на лугу.  
Клен красный шелестит.  
Вот страннику виденье маленькой корчмы.  
Великолепие какое – вкушать с орехами столь юное вино.  
Великолепно: захмелев брести, шатаясь чуть,  
по сумрачному лесу.  
Звучат сквозь черные сплетения ветвей мучительные колокола.  
И капает роса на лоб и щеки.

## HELIAN

In den einsamen Stunden des Geistes  
Ist es schön, in der Sonne zu gehn  
An den gelben Mauern des Sommers hin.  
Leise klingen die Schritte im Gras; doch immer schläft  
Der Sohn des Pan im grauen Marmor.

Abends auf der Terrasse betranken wir uns  
mit braunem Wein.  
Rötlich glüht der Pfirsich im Laub;  
Sanfte Sonate, frohes Lachen.

Schön ist die Stille der Nacht.  
Auf dunklem Plan  
Begegnen wir uns mit Hirten und weißen Sternen.

Wenn es Herbst geworden ist  
Zeigt sich nüchterne Klarheit im Hain.  
Besänftigte wandeln wir an roten Mauern hin  
Und die runden Augen folgen dem Flug der Vögel,  
Am Abend sinkt das weisse Wasser in Graburnen.

In kahlen Gezweigen feiert der Himmel.  
In reinen Händen trägt der Landmann Brot und Wein  
Und friedlich reifen die Früchte in sonniger Kammer.

O wie ernst ist das Antlitz der teuren Toten.  
Doch die Seele erfreut gerechtes Anschauen.

## ГЕЛИАН

Одинокими часами Духа  
хорошо идти под солнцем  
вдоль желтых стен лета.  
Тихо шуршат шаги в траве; в мраморе сером  
сновидения отпрыска Пана всё еще длятся.

По вечерам на террасе мы опьяняем себя  
темным вином виноградным.  
Красным огнем персик рдеет в листве;  
мягкая поступь сонаты; смеха свеченье.

Ночи молчанье прекрасно.  
По туманной равнине  
навстречу идут пастухи к нам и белые звезды.

Осень приходит, чтобы нам дать созерцанье  
трезвой прозрачности рощи.  
Чтобы блаженно брести вдоль ржавеющих стен  
и изумленными взорами следовать птиц перелетам.  
А вечерами белые воды текут в свои погребальные устья.

В голых ветвях светится небо.  
Чисты крестьянские руки, несущие хлеб и вино нам.  
Мирно плоды дозревают в солнечной дреме.

О, как серьезны лики возлюбленных мертвых!  
Но всё блаженна душа в созерцанье покойном.

Gewaltig ist das Schweigen des verwüsteten Gartens,  
Da der junge Novize die Stirne mit braunem Laub bekränzt,  
Sein Odem eisiges Gold trinkt.

Die Hände rühren das Alter bläulicher Wasser  
Oder in kalter Nacht die weissen Wangen der Schwestern.

Leise und harmonisch ist ein Gang an freundlichen Zimmern hin,  
Wo Einsamkeit ist und das Rauschen des Ahorns,  
Wo vielleicht noch die Drossel singt.

Schön ist der Mensch und erscheinend im Dunkel,  
Wenn er stauend Arme und Beine bewegt,  
Und in purpurnen Höhlen stille die Augen rollen.

Zur Vesper verliert sich der Fremdling  
in schwarzer Novemberzerstörung,  
Unter morschem Geäst, an Mauern voll Aussatz hin,  
Wo vordem der heilige Bruder gegangen,  
Versunken in das sanfte Saitenspiel seines Wahnsinns,

O wie einsam endet der Abendwind.  
Ersterbend neigt sich das Haupt im Dunkel des Ölbaums.  
Erschütternd ist der Untergang des Geschlechts.  
In dieser Stunde füllen sich die Augen des Schauenden  
Mit dem Gold seiner Sterne.

Am Abend versinkt ein Glockenspiel, das nicht mehr tönt,  
Verfallen die schwarzen Mauern am Platz,  
Ruft der tote Soldat zum Gebet.

Ein bleicher Engel  
Tritt der Sohn ins leere Haus seiner Väter.

Необъятно молчанье опустошенного сада;  
юный послушник в венке из листы облетевшей  
тихо пьянеет, вдыхая морозное золото.

Прикосновеенье руки к древности голубеющей влаги  
или в холодную ночь – к белым сестринским лицам.

Как паряще и тихо идешь мимо дружеских окон,  
где – одиночество, где шуршание клёнов,  
где, может быть, все еще дрозд свою песню не кончил.

В сумерках призрачен человек и прекрасен.  
Изумленны движенья его руками, ногами,  
а в пурпурных гротах его тихо возвращаются очи.

К но́чи в черном ноябрьском ха́бсе  
затерялся чужак-незнакомец, в гуще ломких ветвей,  
вдоль богатой настенной проказы;  
там монах проходил незадолго,  
в сумасшествья нежные струны всецело ушедший.

О, до чего ж одинока кончина вечернего ветра!  
Испуская дыханье, он голову клонит в сумрак оливы.  
Потрясающа гибель рода людского.  
В этот час созерцателя очи  
золотом звезд его по́льны.

Вечером тонет игра колокольная; только беззвучье.  
Черные стены на площади рушатся.  
Мертвый солдат призывает к молитве.

Ангелом бледным  
сын возвращается в дом своих предков, тот – пуст.

Die Schwestern sind ferne zu weissen Greisen gegangen.  
Nachts fand sie der Schlafer unter den Säulen im Hausflur,  
Zurückgekehrt von traurigen Pilgerschaften.

O wie starrt von Kot und Würmern ihr Haar,  
Da er darein mit silbernen Füßen steht,  
Und jene verstorben aus kahlen Zimmern treten.

O ihr Psalmen in feurigen Mitternachtsregen,  
Da die Knechte mit Nesseln die sanften Augen schlugen,  
Die kindlichen Früchte des Hollunders  
Sich staunend neigen über ein leeres Grab.

Leise rollen vergilbte Monde  
Über die Fieberlinnen des Jünglings,  
Eh dem Schweigen des Winters folgt.

Ein erhabenes Schicksal sinnt den Kidron hinab,  
Wo die Zeder, ein weiches Geschöpf,

Sich unter den blauen Brauen des Vaters entfaltet,  
Über die Weide nachts ein Schäfer seine Herde führt.  
Oder es sind Schreie im Schlaf,  
Wenn ein eherner Engel im Hain den Menschen antritt,  
Das Fleisch des Heiligen auf glühendem Rost hinschmilzt.

Um die Lehmhütten rankt purpurner Wein,  
Tönende Bündel vergilbten Kornes,  
Das Summen der Bienen, der Flug des Kranichs.  
Am Abend begegnen sich Auferstandene auf Felsenpfaden.

In schwarzen Wassern spiegeln sich Aussätzige;  
Oder sie öffnen die kotbefleckten Gewänder  
Weinend dem balsamischen Wind,  
der vom rosigen Hügel weht.

В даль среброликую к старцам сёстры ушли незаметно.  
Ночью спавший нашел их под колоннадой в прихожей –  
только что возвратились с грустных паломничеств дальних.  
Но в волосах их – грязь, нечистоты и черви!  
Это он видит, стоя вблизи; в серебре его ноги.  
А из комнат пустых ускользают умершие тихо.

О, эти псалмы их в огненном шуме дождя полуночном!  
Мерно холопы хлещут их кроткие очи крапивой;  
детские кисти бузинные изумленно склонились  
над опустевшей могилой.

Тихо свершают свой круг пожелтевшие луны  
по лихорадке простынной того, кто еще только отрок;  
не подступили безмолвные зимы.

Молча Кедрона высокий удел опускается к кедру,  
вот он раскинулся в плавности линий – отпрыска кротость –

под голубыми бровями отца в размышленья ушедший.  
Там по пастбищам ночью пастух ведет свое стадо.  
Или, быть может, это крики во сне,  
в том, где бронзовый ангел, в роще застав человека,  
плавит плоть его – тело святого – на раскаленной решетке.

Виноградником пурпурным стены увиты глиняных хижин  
и снопами, поющими ветру, желтого жита.  
То жужжание пчел, журавлей одиноких пролеты.  
По вечерам на скалистых тропинках –  
внезапные встречи воскресших.

Прокаженные, в зеркало будто, глядят в почерневшие воды,  
а потом одежды свои, провонявшие гноем и гнилью,  
подставляют, стеной, бальзаму упругого ветра –  
он со склонов летит, где розы в полном расцвете.

Schlanke Mägde tasten durch die Gassen der Nacht,  
Ob sie den liebenden Hirten fänden.  
Sonnabends tönt in den Hütten sanfter Gesang.

Lasset das Lied auch des Knaben gedenken, Seines Wahnsinns,  
und weisser Brauen und seines Hingangs,  
Des Verwesten, der bläulich die Augen aufschlägt.  
O wie traurig ist dieses Wiedersehn.

Die Stufen des Wahnsinns in schwarzen Zimmern,  
Die Schatten der Alten unter der offenen Tür,  
Da Helians Seele sich im rosigen Spiegel beschaut  
Und Schnee und Aussatz von seiner Stirne sinken.

An den Wänden sind die Sterne erloschen  
Und die weissen Gestalten des Lichts.

Dem Teppich entsteigt Gebein der Gräber,  
Das Schweigen verfallener Kreuze am Hügel,  
Des Weihrauchs Süsse im purpurnen Nachtwind.

O ihr zerbrochenen Augen in schwarzen Mündern,  
Da der Enkel in sanfter Umnachtung  
Einsam dem dunkleren Ende nachsinnt,  
Der stille Gott die blauen Lider über ihn senkt.

Легкостройные девы ночь изучают наощупь  
по проулков извивам, так пастыря милого ищут.  
По субботам в хижины входит нежное пенье.

Пусть расскажут их песни и про того мальчугана,  
и про безумье его, и про белые его брови,  
и про уход, и про то его тленье,  
где разверзлись внезапно синие его очи.  
О, сколь печально это, в тихих напевах, свиданье!

То ступени безумия в комнатах черных,  
где в дверях, распахнутых настежь, – древнейшие тени.  
Здесь душа Гелиана себя созерцает в зеркале отсвета розы,  
снег и проказа сыпятся вниз с чела Гелиана.

Вот на стенах нет уже звезд, звезды потухли.  
А вместе с ними и белые призраки света.

Здесь могильщик прах человеческий  
наверх бросает, на травы.  
Здесь молчат, завалившись, кресты  
на медленных склонах.  
Ладана сладость в пурпуре ветра ночного.

Очи ушедших разбиты, ртов обнажились черноты.  
И покуда их внук, плавно сходя в помраченье,  
одинокую думу молчит о конце неизвестно-кромешном,  
тихо Господь веки над ним голубые смыкает.

NEIGE

2. FASSUNG

O geistlich Wiedersehn  
In altem Herbst.  
Gelbe Rosen  
Entblättern am Gartenzaun,  
Zu dunkler Träne  
Schmolz ein grosser Schmerz,  
O Schwester!  
So stille endet  
der goldne Tag.

СКЛОН

2-я РЕДАКЦИЯ

О священство свиданья  
с этой осенью древней!  
Лепестки осыпают  
розы желтые  
у садовой калитки.  
Смутной слезою  
стала великая боль,  
о сестра!  
В тишине опочил  
этот день золотой.

AN JOHANNA

Oft hor' ich deine Schritte  
Durch die Gasse lauten.  
Im braunen Gärtchen  
Die Bläue deines Schattens.

In der dämmernden Laube  
Saß ich schweigend beim Wein.  
Ein Tropfen Blutes  
Sank von deiner Schläfe

In das singende Glas  
Stunde unendlicher Schwermut.  
Es weht von Gestirnen  
Ein schneeiger Wind durch das Laub.

Jeglichen Tod erleidet,  
Die Nacht der bleiche Mensch.  
Dein purpurner Mund  
Wohnt eine Wunde in mir.

Als käm' ich von den grünen  
Tannenhügeln und Sagen  
Unserer Heimat,  
Die wir lange vergassen

ИОАННЕ

Мелодию твоей походки в переулке  
слушаю снова и снова.  
В порыжевшем саду –  
синеву твоей тени.

В сумеречной беседке  
пил вино я в молчанье.  
Крови капля  
с виска твоего упала

в стакан мой запевший;  
час безбрежной тоски;  
запуржило снегами,  
шевельнулась листва от созвездий.

Всякую смерть повидала  
тусклого ночь человека.  
Раной во мне поселились  
пурпурные твои губы.

Словно пришел я с зеленых  
хвойных холмов и сказаний  
родины нашей, нами  
давно уже позабытой –

Wer sind wir? Blaue Klage  
Eines moosigen Waldquells,  
Wo die Veilchen  
Heimlich im Frühling duften.

Ein friedliches Dorf im Sommer  
Beschirmte die Kindheit einst  
Unsres Geschlechts,  
Hinsterbend nun am Abend –

Hügel die weissen Enkel  
Träumen wir die Schrecken  
Unseres nächtigen Blutes  
Schatten in steinerner Stadt.

кто же мы?  
не голубая ли песня плача  
мшистой лесной речушки,  
где таинственно пахнут  
даже фиалки весной?

Мирная деревенька  
когда-то летом хранила  
детство нашего рода,  
и вот он медленно гаснет –

холм, седые внуки;  
нам снятся сны о кошмарах  
полуночной нашей крови,  
о тѣнях в каменном граде.

## NÄHE DES TODES

### 2. FASSUNG

O der Abend, der in die finsternen Dörfer  
der Kindheit geht.  
Der Weiher unter den Weiden  
Füllt sich mit den verpesteten Seufzern der Schwermut.

O der Wald, der leise die braunen Augen senkt,  
Da aus des Einsamen knöchernen Händen  
Der Purpur seiner verzückten Tage hinsinkt.

O die Nähe des Todes. Lass uns beten.  
In dieser Nacht lösen auf lauen Kissen  
Vergilbt von Weihrauch sich der Liebenden schwächliche Glieder.

## БЛИЗОСТЬ СМЕРТИ

### 2-я РЕДАКЦИЯ

О этот вечер, дремуче ведущий  
в детства селенья.  
Пруд в объятых ивовой рощи,  
зачумленный тоскою зыванья.

О этот лес, что смыкает неслышно  
карие очи, когда из худющих рук Отрешенного  
пурпурных дней его ускользает свечение.

О близость смерти! Позволь нам молиться.  
В этой ночи на простынях одиноких, от ладана желтых,  
хрупкие мощи влюбленных истлели.

## AMEN

Verwestes gleitend durch die morsche Stube;  
Schatten an gelben Tapeten; in dunklen Spiegeln wölbt  
Sich unserer Hände elfenbeinerne Traurichkeit.

Braune Perlen rinnen durch die erstorbenen Finger.  
In der Stille  
Tun sich eines Engels blaue Mohnaugen auf.

Blau ist auch der Abend;  
Die Stunde unseres Absterbens, Azraels Schatten,  
Der ein braunes Gärtchen verdunkelt.

## АМИНЬ

Тлеющее порхает в одряхлевшей комнате;  
тени по желтым обоям; в сумерках зеркалов завершается  
наших рук печаль словно она из слоновой кости.

Смуглые жемчужины струятся в замершую руку.  
В тишине  
открываются голубые ангела маковые очи.

А вот и синий вечер;  
Нашего умирания пора, пора тени Азраила,  
сокрывающего во тьме этот коричневеющий маленький сад.





Frieden der Seele. Einsamer Winterabend,  
Die dunklen Gestalten der Hirten am alten Weiher;  
Kindlein in der Hütte von Stroh; o wie leise  
Sank in schwarzem Fieber das Antlitz hin.  
Heilige Nacht.

Oder wenn er an der harten Hand des Vaters  
Stille den finstern Kalvarienberg hinanstieg  
Und in dämmernden Felsennischen  
Die blaue Gestalt des Menschen durch seine Legende ging,  
Aus der Wunde unter dem Herzen purpurn das Blut rann.  
O wie leise stand in dunkler Seele das Kreuz auf.

Liebe; da in schwarzen Winkeln der Schnee schmolz,  
Ein blaues Lüftchen sich heiter im alten Hollunder fing,  
In dem Schattengewölbe des Nussbaums;  
Und dem Knaben leise sein rosiger Engel erschien.

Freude; da in kühlen Zimmern eine Abendsonate erklang,  
Im braunen Holzgebälk  
Ein blauer Falter aus der silbernen Puppe kroch.

O die Nähe des Todes. In steinerner Mauer  
Neigte sich ein gelbes Haupt, schweigend das Kind,  
Da in jenem März der Mond verfiel.

Кротость души одинокой. Вечера зимность.  
Смутные пастухов силуэты возле старого пруда;  
дитя в шалаше из соломы; о, как незаметно  
упадал этот Образ в черноту лихорадки.  
Ночь: та, что священна.

В другой раз возле сильной отцовской руки  
молча взбирался на угрюмость кальварской\* вершины,  
а в брезжащих нишах межскальных  
ритмами мифа шла голубая фигура,  
из раны под сердцем пурпуром кровь вытекала.  
О, как неслышно крест воссиял в смутной душе!

Любовь; по черных углам – таянье снега,  
синим ветром орешника старые ветви промыты,  
плотные своды лещины;  
тогда и явился мальчонке алый тот ангел.

О радость; в прохладе вечерней гостиной –  
сонаты звучанье,  
а сверху на балке коричневой  
куколки свет серебристый,  
и вдруг голубеющей бабочки самоявленье.

О близость смерти! В каменность мощной стены  
уткнулось вершинное золото; смолк и ребенок,  
и в марте всё том же зачали лунные лики.

\* Кальварий – место, обычно специальный сад на горе, где верующими (католиками) инсценированы с помощью скульптур и иных средств муки (страсти) Христовы. Слово восходит к латинскому «calvaria», что в свою очередь – к арамейскому «golgota». (Прим. пер.).

Rosige Osterglocke im Grabgewölbe der Nacht  
 Und die Silberstimmen der Sterne,  
 Dass in Schauern ein dunkler Wahnsinn von der Stirne des Schläfers sank.

O wie stille ein Gang den blauen Fluß hinab  
 Vergessenes sinnend, da im grünen Geäst  
 Die Drossel ein Fremdes in den Untergang rief.

Oder wenn er an der knöchernen Hand des Greisen  
 Abends vor die verfallene Mauer der Stadt ging  
 Und jener in schwarzem Mantel ein rosiges Kindlein trug,  
 Im Schatten des Nussbaums der Geist des Bösen erschien.

Tasten über die grünen Stufen des Sommers. O wie leise  
 Verfiel der Garten in der braunen Stille des Herbstes,  
 Duft und Schwermut des alten Hollunders,  
 Da in Sebastians Schatten die Silberstimme des Engels erstarb.

Алость пасхальных колоколов в склепе ночи,  
 серебряных звезд голоса:  
 благоговейно омыты темным безумьем уснувшего лба.

О, как тихо скольжение вниз по синей реке;  
 оживленье смыслов забытых, когда в зеленых ветвях  
 дрозд в Закат Чужестранность позвал.

В другой раз, под вечер возле костлявой старца руки  
 шел вдоль ветшающих стен городских, вдруг  
 некто в черном плаще, на руках его – розовый мальчик..  
 Под тенью лещины тогда дух зла внезапно дохнул.

Наощупь по зеленым ступеням лета. Как незаметно  
 и кротко сад одряхлел в буром осеннем молчанье;  
 ароматы старых кустов бузины; о, эта печаль и тоска их,  
 когда в тени Себастьяна серебряный ангела голос  
 умолк безвозвратно.

AM MOOR

3. FASSUNG

Wanderer im schwarzen Wind; leise flüstert das dürre Rohr  
In der Stille des Moors. Am grauen Himmel  
Ein Zug von wilden Vögeln folgt;  
Quere über finsternen Wassern.

Aufruhr. In verfallener Hütte  
Aufplattert mit schwarzen Flügeln die Fäulnis;  
Verkrüppelte Birken seufzen im Wind.

Abend in verlassener Schenke. Den Heimweg umwittert  
Die sanfte Schwermut grasender Herden,  
Erscheinung der Nacht: Kröten tauchen aus silbernen Wassern.

НА БОЛОТАХ

3-я РЕДАКЦИЯ

Черный ветер и странник; тихо шепчется тонкий камыш  
В болотной тиши. В сером небе  
Вереницами дикие птицы;  
Пересекают мрачные воды.

Смятение. В хижине ветхой  
Вспархивает черными крыльями тленье;  
Стонут на ветру скрюченные березы.

Вечер в заброшенной корчме. За возвращеньем домой –  
Тайное слеженье нежной тоски пасущихся стад,  
Явление ночи: жабы всплывают из серебряных вод.

AM MÖNCHSBERG

2. FASSUNG

Wo im Schatten herbstlicher Ulmen  
der verfallene Pfad hinabsinkt,  
Ferne den Hütten von Laub, schlafenden Hirten,  
Immer folgt dem Wanderer die dunkle Gestalt der Kühle

Über knöchernen Steg, die hyazinthene Stimme des Knaben,  
Leise sagend die vergessene Legende des Walds,  
Sanfter ein Krankes nun die wilde Klage des Bruders.

Also rührt ein spärliches Grün das Knie des Fremdlings,  
Das versteinerte Haupt;  
Näher rauscht der blaue Quell die Klage der Frauen.

У МОНАШЬЕЙ ГОРЫ

2-я РЕДАКЦИЯ

Там, где под тенью вязов осенних,  
чуть приметна, вниз уходит тропа,  
вдалеке от лесных шалашей, от лежанок пастушьих, –  
неустанно за Странником следует образ прохлады туманный,

по костистой тропе, где гиацинтовый мальчика голос  
тихо сказку лесную, давно позабытую нами, волхвует;  
там Кротко-больное, там плач одичалый брата-монаха.

То колен чужеземца коснулась последняя зелень,  
а потом – каменеющих лба его и затылка.  
Ближе, ближе звучащий родник голубой,

в нем – женские слезы и плачи.

## IM PARK

Wieder wandelnd im alten Park,  
O! Stille gelb und roter Blumen.  
Ihr auch trauert, ihr sanften Götter,  
Und das herbstliche Gold der Ulme.  
Reglos ragt am bläulichen Weiher  
Das Rohr, verstummt am Abend die Drossel.  
O! dann neige auch du die Stirne  
Vor der Ahnen verfallenem Marmor.

## В ПАРКЕ

Снова в этом древнем парке бродяжу,  
О тишина желтых и красных цветов.  
Вам тоже грустно, как и вашим нежным богам,  
И осеннему золоту вяза.  
Недвижим в озерной голубизне  
Камыш, к вечеру смолк даже дрозд.  
О! так склонись же и ты  
Пред разрушенным мрамором предков.

\* \* \*

Die blaue Nacht ist sanft auf unsren Stirnen aufgegangen.  
Leise berühren sich unsre verwesten Hände  
Süße Braut!

Bleich ward unser Antlitz, mondene Perlen  
Verschmolzen in grünem Weihergrund.  
Versteinerte schauen wir unsre Sterne.

O Schmerzliches! Schuldige wandeln im Garten  
In wilder Umarmung die Schatten,  
Dss in gewaltigem Zorn Baum und Tier über sie sank.

Sanfte Harmonien, da wir in kristallinen Wogen  
Fahren durch die stille Nacht  
Ein rosiger Engel aus den Gräbern der Liebenden tritt.

\* \* \*

Синяя ночь возлегла нам нежнейше на веки.  
Молча соприкоснулись наши тленные руки.  
О, как сладка ты, невеста!

Бледность покрыла нам щеки, белый жемчуг Селены  
растворился, мерцая, на дне зеленого пруда.  
Окаменевшими видим мы наши с тобою звезды.

О пронзительность боли! Тени, обнявшись пьяно,  
бродят по саду преступно,  
так что в чудовищном гневе деревья и звери их судят.

Мы же в гармонии кроткой сквозь хрустальные волны  
тихую ночь проплываем.  
Розовый ангел выходит к нам из гробницы влюбленных.

PSALM

2. FASSUNG

*Karl Kraus zugeeignet*

Es ist ein Licht, das der Wind ausgelöscht hat.  
Es ist ein Heidekrug, den am Nachtmittag ein Betrunkener verlässt.  
Es ist ein Weinberg, verbrannt und schwarz mit Löchern voll Spinnen.  
Es ist ein Raum, den sie mit Milch getüncht haben.  
Der Wahnsinnige ist gestorben. Es ist eine Insel der Südsee,  
Den Sonnengott zu empfangen. Man rührt die Trommeln.  
Die Männer führen kriegerische Tänze auf.  
Die Frauen wiegen die Hüften in Schinggewächsen und Feuerblumen,  
Wenn das Meer singt. O unser verlorenes Paradies.

Die Nymphen haben die goldenen Wälder verlassen.  
Man begräbt den Fremden. Dann hebt ein Flimmerregen an.  
Der Sohn des Pan erscheint in Gestalt eines Erdarbeiters,  
Der den Mittag am glühenden Asphalt verschläft.  
Es sind kleine Mädchen in einem Hof  
in Kleidchen voll herzzereissender Armut!

Es sind Zimmer, erfüllt von Akkorden und Sonaten.  
Es sind Schatten, die sich vor einem erblindeten Spiegel umarmen.  
An den Fenstern des Spitals wärmen sich Genesende.  
Ein weisser Dampfer am Kanal trägt blutige Seuchen herauf.

Die fremde Schwester erscheint wieder in jemens bösen Träumen.  
Ruhend im Haselgebüsch spielt sie mit seinen Sternen.  
Der Student, vielleicht ein Doppelgänger,  
schaut ihr lange vom Fenster nach.

ПСАЛОМ

2-я РЕДАКЦИЯ

*Карлу Краусу посвящается*

Се свеча, задул ее ветер.  
Се кабак, незнакомец в подпитье в сумерках канул.  
Се виноградник; кто его выжег? черный, в гнездах паучьих.  
Се комната, выбеленная молочно.  
Умер безумец. Се остров в южных морях,  
здесь Бога Солнца встречают. Бьют барабаны.  
Воинственны танцы мужчин.  
Жены, увиты гирляндами  
и фейерверком цветочным, бедрами мерно играют,  
а море в такт им поет. О наш потерянный Рай!

Нимфы уже и давно покинули золото рощи.  
Погребают пришельца.  
Дождик слепой вдруг пошёл.  
Пана потомок, землемером прикинувшись тонко,  
на асфальте расплавленном спит, позабыв об обеде.  
А малышки дворовые – в платящих ветхих настолько,  
что жаль их до боли.

Се квартира, в ней аккорды живут и сонаты.  
Перед зеркалом (тотчас слепнет оно) обнимаются тени.  
А в окнах больничных греются те, кто идут на поправку.  
Тащит вверх по реке белый катер чумные кровавые дроги.

Снова чья-то сестра появляется в мрачных мечтах незнакомца.  
В лещины кустах в его звезды блаженно играет она.  
Студент, быть может двойник,  
долго-долго за ней из окна наблюдает.

Hinter ihm steht sein toter Bruder,  
oder er geht die alte Wendeltreppe herab.  
Im Dunkel brauner Kastanien verblasst die Gestalt des jungen Novizen.  
Der Garten ist im Abend. Im Kreuzgang flattern die Fledermäuse umher.  
Die Kinder des Hausmeisters hören zu spielen auf und suchen  
das Gold des Himmels.

Endakkorde eines Quartetts.  
Die kleine Blinde läuft zitternd durch die Allee,  
Und später tastet ihr Schatten an kalten Mauern hin,  
umgeben von Märchen und heiligen Legenden.

Es ist ein leeres Boot, das am Abend den schwarzen Kanal heruntertreibt.  
In der Düsternis des alten Asyls verfallen menschliche Ruinen.  
Die toten Waisen liegen an der Gartenmauer.  
Aus grauen Zimmern treten Engel mit kotgefleckten Flügeln.  
Würmer tropfen von ihren vergilbten Lidern.  
Der Platz vor der Kirche ist finster und schweigsam,  
wie in den Tagen der Kindheit.

Auf silbernen Sohlen gleiten frühere Leben vorbei  
Und die Schatten der Verdammten steigen zu den  
seufzenden Wassern nieder.  
In seinem Grab spielt der weiße Magier mit seinen Schlangen.

Schweigsam über der Schädelstätte öffnen sich Gottes goldene Augen.

Сзади брат умерший стоит, а может спускается вниз  
по лестнице ветхой, по винтовым ее маршам.  
Силуэт растворяется в сумраке бурных каштанов,  
то юный послушник.  
А в саду уже вечер. В галерее – летучих мышей  
стремительны вспорхи.  
Дворника дети, отыгравши все игры,  
начинают странствовать в поисках золота неба.  
То аккорды финала квартета. Слепая малышка, дрожа,  
бежит по аллее,  
и вот ее тень уже жметя к стенам холодным,  
а вокруг – лишь сказок и мифов священство.

Лодка пустая вечером вниз плывет по чернотам канала.  
В сумраке древних убежищ догнивает прах человеческий.  
Под садовой стеной двое бездомных недавно скончались.  
Из пепельных комнат ангелы вышли,  
калом испачкавши крылья.  
Капают черви с их век, с век пожелтевших.  
Перед церковью площадь всё так же мрачна и безмолвна,  
как в детстве.

На ступнях серебристых скользят, ускользя,  
наши прежние жизни.  
Обреченные тени уходят к стонущим водам.  
А в одном из склепов могильных белый маг со змеями играет.

Отверзаются молча над Лобным местом златые Господние очи.

## DIE SONNENBLUMEN

Ihr goldenen Sonnenblumen,  
Innig zum Sterben geneigt,  
Ihr demutsvollen Schwestern  
In solcher Stille  
Endet Helians Jahr  
Gebirgiger Kühle.

Da erbleicht von Küssen  
Die trunkne Stirn ihm  
Inmitten jener goldenen  
Blumen der Schwermut  
Bestimmt den Geist  
Die schweigende Finsternis.

## Подсолнухи

Золотые подсолнухи,  
сокровенно к смерти склоненные.  
Кроткие братья и сестры,  
в тишине – вот она, ваша –  
Гелиана кончается год.  
Год свежести гор.

Поцелуи делают белым  
лоб его упоенный  
цветами тоски золотой,  
дух же вмняет ему  
безмолвие тьмы.

HOHENBURG

2. FASSUNG

Es ist niemand im Haus. Herbst in Zimmern;  
Mondeshelle Sonate  
Und das Erwachen am Saum des dämmernden Walds.

Immer denkst du das weisse Antlitz des Menschen  
Ferne dem Getümmel der Zeit;  
Über ein Träumendes neigt sich gerne grünes Gezweig,

Kreuz und Abend;  
Umfängt den Tönenden mit purpurnen Armen sein Stern,  
Der zu unbewohnten Fenstern hinaufsteigt.

Also zittert im Dunkel der Fremdling,  
Da er leise die Lider über ein Menschliches aufhebt,  
Das ferne ist; die Silberstimme des Windes im Hausflur.

ХОЭНБУРГ\*

2-я РЕДАКЦИЯ

Дома пустыньность; в комнатах – осень;  
лунно свеченье сонаты,  
внезапное пробужденье на краю рассветного леса.

Неотступные мысли о лике седом человека,  
что оставил в далёкости дальней суматошное время;  
над сновиденным нежно склонилась зеленая ветка;

крест и вечер;  
обнимают поющего звезд его пурпурных руки,  
прикасаясь к пустынно-заброшенным окнам.

Так что дрожь пробирает во тьме чужестранца,  
когда тихие веки свои поднимает  
он поверх человеческого смысла; как далёк уже он;  
голос серебряный ветра в прихожей.

---

\* Хоэнбург – название поместья Рудольфа фон Фикера (друга Тра-  
кля).

ABEND IN LANS

2. FASSUNG

Wanderschaft durch dämmernden Sommer  
An Bündeln vergilbten Kornes vorbei. Unter getünchten Bogen,  
Wo die Schwalbe aus und ein flog, tranken wir feurigen Wein.

Schön: o Schwermut und purpurnes Lachen.  
Abend und die dunklen Düfte des Grüns  
Kühlen mit Schauern die glühende Stirne uns.

Silberne Wasser rinnen über die Stufen des Walds,  
Die Nacht und sprachlos ein vergessenes Leben.  
Freund; die belaubten Stege ins Dorf.

ВЕЧЕР В ЛАНСЕ

2-я РЕДАКЦИЯ

Пешее странствие по сумеречному лету  
Мимо снопов пожелтевшего жита.  
Под свежесмытой аркой,  
Где ласточка бойко порхала, мы пили вино огневое.

Как прекрасно: тоска и пурпурность смеха.  
И вечер, и запахи зелени, смутно-неведомы,  
Охлаждали ознобно пламенность наших голов.

Серебристые воды по леса ступеням текли,  
И по ночи, и по всей нашей жизни,  
в молчанье окружном забытой.  
Друг; тропинка в деревню сквозь гущу листьев.

## SIEBENGESANG DES TODES

Bläulich dämmert der Frühling; unter saugenden Bäumen  
Wandert ein Dunkles in Abend und Untergang,  
Lauschend der sanften Klage der Amsel.

Schweigend erscheint die Nacht, ein blutendes Wild,  
Das langsam hinsinkt am Hügel.

In feuchter Luft schwankt blühendes Apfelgezwig,  
Löst silbern sich Verschlungenes,  
Hinsterbend aus nächtigen Augen; fallende Sterne;  
Sanfter Gesang der Kindheit.

Erscheinender stieg der Schläfer den schwarzen Wald hinab,  
Und es rauschte ein blauer Quell im Grund,  
Daß jener leise die bleichen Lider aufhob  
Über sein schneeiges Antlitz;

Und es jagte der Mond ein rotes Tier  
Aus seiner Höhle;  
Und es starb in Seufzern die dunkle Klage der Frauen.

Strahlender hob die Hände zu seinem Stern  
Der weisse Fremdling;  
Schweigend verlässt ein Totes das verfallene Haus.

O des Menschen verweste Gestalt: gefügt aus kalten Metallen,  
Nacht und Schrecken versunkener Wälder  
Und der sengenden Wildnis des Tiers;  
Windesstille der Seele.

## СЕМИПСАЛМИЕ СМЕРТИ

Голубея, дымится весна; меж деревьев – о, как пьют! –  
Смутность движется в вечер, в закат,  
К нежным плачам дрозда приникая всем слухом.

Молча ночь появляется, зверь, кровавящий след свой,  
Никнет медленно рядом с холмом.

Ветви яблони в цвете – в дрожи воздуха влажной;  
Серебрясь, растворяется всё, что сплелось,  
Угасая в глазах, где спит ночь; низвергаются звезды;  
Кроток детства псалом.

Призрак спящего к черному лесу спускался;  
Из земли вдруг родник голубой ему песню запел,  
И неслышно он белые веки поднял  
На заснеженном лике.

А луна всё за зверем красным гналась  
От самой пещеры его;  
В столах умер он; плачи воплиниц смутных.

Тот, светящийся, руки к звезде своей поднял,  
Чужестранец седой;  
Молча мертвый покинул дом отчий в руинах.

О проект человека прогнивший:  
формовка холодных металлов,  
Ночь-ужас лесов затонувших,  
Пылающей чащи звериной;  
Ни дуновения в душах.

Auf schwärzlichem Kahn fuhr jener schimmernde Ströme hinab  
Purpurner Sterne voll, und es sank  
Friedlich das ergrünte Gezweig auf ihn,  
Mohn aus silberner Wolke.

На чернеющей лодке тот, другой –вниз по свеченью потока,  
Полный пурпурных звезд; благословенно и свыше  
Осененный веткой цветущей,  
Мак – из серебряной тучи.

UNTERGANG

5. FASSUNG

*An Karl Borromaeus Heinrich*

Über den weißen Weiher  
Sind die wilden Vögel fortgezogen.  
Am Abend weht von unseren Sternen ein eisiger Wind.

Über unsere Gräber  
Beugt sich die zerbrochene Stirne der Nacht.  
Unter Eichen schaukeln wir auf einem silbernen Kahn.

Immer klingen die weissen Mauern der Stadt.  
Unter Dornenbogen  
O mein Bruder klimmen wir blinde Zeiger gen Mitternacht.

ЗАКАТ

5-я РЕДАКЦИЯ

*Карлу Борромеусу Хайнриху*

Над озером белым  
в даль потянулись дикие птицы.  
Вечером дует от наших созвездий ветер леденящий.

Над могилой твоей и моей  
ночь склонила разбитый свой лоб.  
Под дубами качаемся мы в серебряной лодке.

Стены белые города непрерывно звенящи.  
Под терновыми сводами, брат мой,  
мы – слепые стрелки часов,  
что упорно в полночь ползут.

## NACHTS

Die Bläue meiner Augen ist erloschen in dieser Nacht,  
Das rote Gold meines Herzens. O! wie stille brannte das Licht.  
Dein blauer Mantel umfing den Sinkenden;  
Dein roter Mund besiegelte des Freundes Umnachtung.

## Ночью

Синева моих глаз погасла в этой Ночи,  
Красное золото сердца моего. О, как тихо сгорел этот огонь!  
Плащом голубым ты укрыла упавшего вниз.  
Пунцовый твой рот печатью скрепил погружение друга во мрак.

## IN WENEDIG

Stille in nächtigem Zimmer.  
Silbern flackert der Leuchter  
Vor dem singenden Odem  
Des Einsamen;  
Zaubrisches Rosengewölk.

Schwärzlicher Fliegenschwarm  
Verdunkelt den steinernen Raum  
Und es starrt von der Qual  
Des goldenen Tags das Haupt  
Des Heimatlosen.

Reglos nachtet das Meer.  
Stern und schwärzliche Fahrt  
Entschwand am Kanal.  
Kind, dein kränkliches Lächeln  
Folgte mir leise im Schlaf.

## В ВЕНЕЦИИ

В комнате ночью так тихо.  
Серебристо мерцает подсвечник.  
Песня дыханья;  
Одиночество;  
Розовых туч волшебство.

Стаи мушиной круженье  
Затемняет межкаменный воздух.  
До предела наполнена  
Мукою дня золотого  
Голова чужестранца.

Темное море недвижно.  
Звезда и чернеющий след  
Исчезают в Канале.  
О дитя, боли улыбка твоя так тиха,  
В сновиденье со мной погружаясь.

## DE PROFUNDIS

Es ist ein Stoppelfeld, in das ein schwarzer Regen fällt.  
Es ist ein brauner Baum, der einsam dasteht.  
Es ist ein Zischelwind, der leere Hütten umkreist.  
Wie traurig dieser Abend.

Am Weiler vorbei  
Sammelt die sanfte Waise noch spärliche Ähren ein.  
Ihre Augen weiden rund und goldig in der Dämmerung  
Und ihr Schoß harrt des himmlischen Bräutigams.

Bei der Heimkehr  
Fanden die Hirten den süßen Leib  
Verwest im Dornenbusch.

Ein Schatten bin ich ferne finsternen Dörfern.  
Gottes Schweigen  
Trank ich aus dem Brunnen des Hains.

Auf meine Stirne tritt kaltes Metall  
Spinnen suchen mein Herz.  
Es ist ein Licht, daß in meinem Mund erlöscht.

Nachts fand ich mich auf einer Heide,  
Starrend von Unrat und Staub der Sterne.  
Im Haselgebüsch  
Klangen wieder kristallne Engel.

## DE PROFUNDIS

Черный дождь сжатые нивы сечёт.  
Всё темней бурый ствол, что стоит на отшибе.  
Кружит ветер, свистя, между изб опустевших.  
Как вечер печален!

Близ деревни  
бредет кроткая сиротка, ищет колосья.  
В сумерках очи её пасутся золотисто-округло.  
Лоно жениха небесного ищет.

Домой возвращаясь,  
нашли пастухи ее сладкую плоть  
тлеющей в чаше лещинной.

Я – тень этих мрачных селений.  
Я Божье молчание пью  
из источника в роще.

На лбу моем хладная поступь металла.  
Ищут сердце сети паучьи.  
Но вот он – свет, что во рту моем гаснет.

Ночью нашел себя в поле внезапно  
осыпанным звездною пылью и сором.  
В орешника куцах прозрачные ангелы  
пели мне снова.

\* \* \*

Finster blutet ein braunes Wild im Busch;  
Einsam der Blinde, der über verfallene Stufen herabsteigt.  
Im Zimmer die dunklen Flöten des Wahnsinns.

Mit Schnee und Aussatz füllt sich die kranke Seele,  
Da sie am Abend ihr Bild im rosigen Weiher beschaut.  
Verfallene Lieder öffnen sich weinend im Haselgebüsch.  
O der Blinde,  
Der schweigend über verfallene Stufen hinabsteigt im Dunkel.  
Im Dunkel sinken Helians Augen.

\* \* \*

Кровью в кустах истекает, в тоске и тревоге, бурая дикая птица.  
Одинокий слепой спускается по прогнившим ступеням.  
В комнате – смутные флейты безумья.

Изболевшись, душа наполняется снегом с проказой,  
созерцая свой образ вечерний в розовом пруде.  
Дряхлые веки в орешник возносятся, плача.  
О слепец,  
ты спускаешься молча во мрак по прогнившим ступеням.  
В темноте закрываются сами собою глаза Гелиана.

## RUH UND SCHWEIGEN

Hirten begruben die Sonne im kahlen Wald.  
Ein Fischer zog  
In härenem Netz den Mond aus frierendem Weiher.

In blauem Kristall  
Wohnt der bleiche Mensch, die Wang' an seine Sterne gelehnt;  
Oder er neigt das Haupt in purpurnem Schlaf.

Doch immer rührt der schwarze Flug der Vögel  
Den Schauenden, das Heilige blauer Blumen,  
Denkt die nahe Stille Vergessenes, erloschene Engel.

Wieder nachtet die Stirne in mondenem Gestein;  
Ein strahlender Jüngling  
Erscheint die Schwester in Herbst  
und schwarzer Verwesung.

## ПОКОЙ И БЕЗМОЛВИЕ

Солнце в землю зарыли пастухи в лесу опустевшем.  
Ветхою сетью рыбака  
тащит луну из продрогшего пруда.

В голубоватом кристалле  
блекло живет человек, к звезде щекою прижавшись:  
да не упадет голова в сновиденный пурпур.

Но неизменно созерцатель захвачен  
черным птичьим полетом; священством цветов голубых;  
о Позабытом грезит он в тишине, что так близко;  
ангел потухший.

Снова стража ночная лба сквозь лунные камни;  
осень; в черном распаде  
снова к сестре тоскует светящийся отрок.

## DER WANDERER

### 2. FASSUNG

Immer lehnt am Hügel die weisse Nacht,  
Wo in Silbertönen die Pappel ragt,  
Stern' und Steine sind.

Schlafend wölbt sich über den Gießbach der Steg,  
Folgt dem Knaben ein erstorbenes Antlitz,  
Sichelmond in rosiger Schlucht  
Ferne preisenden Hirten. In altem Gestein  
Schaut aus kristallinen Augen die Kröte,  
Erwacht der blühende Wind, die Vogelstimme des Totengleichen  
Und die Schritte ergrünen leise im Wald.

Dieses erinnert an Baum und Tier. Langsame Stufen von Moos;  
Und der Mond,  
Der glänzend in traurigen Wassern versinkt.

Jener kehrt wieder und wandelt an grünem Gestade,  
Schaukelt auf schwarzem Gondelschiffchen durch die verfallene Stadt.

## СТРАННИК

### 2-я РЕДАКЦИЯ

Снова к Холму белая ночь прислонилась,  
там серебристой мелодией высится тополь;  
вот они – звезды и камни.

Сонно-изгибиста тропка над горным потоком,  
за мальчуганом вослед – дух покойника,  
серп полумесяца в розовой бездне  
славят вдали пастухи. В старых камнях  
жаба пялит хрустальные очи,  
просыпается ветер цветочный;  
птичий голос Сродного-мертвым  
и шаги его тихие, в прозелень, в роще.

Вспоминает о дереве он и о звере.  
Как медлительна мшистость ступеней!  
И луна, что, мерцая, в печальные воды уходит.

Возвращается он, по зеленому берегу бродит,  
и на черной гондоле скользит по развалинам града.



## PASSION

## 3. FASSUNG

Wenn Orpheus silbern die Laute rührt,  
 Beklagend ein Totes im Abendgarten,  
 Wer bist du Ruhendes unter hohen Bäumen?  
 Es rauscht die Klage das herbstliche Rohr,  
 Der blaue Teich,  
 Hinsterbend unter grünenden Bäumen  
 Und folgend dem Schatten der Schwester;  
 Dunkle Liebe  
 Eines wilden Geschlechts,  
 Dem auf goldenen Rädern der Tag davonrauscht.  
 Stille Nacht.

Unter finsternen Tannen  
 Mischten zwei Wölfe ihr Blut  
 In steinerner Umarmung; ein Goldnes  
 Verlor sich die Wolke über dem Steg,  
 Geduld und Schweigen der Kindheit.  
 Wieder begegnet der zarte Leichnam  
 Am Tritonsteich  
 Schlummernd in seinem hyazinthenen Haar.  
 Daß endlich zerbräche das kühle Haupt!

Denn immer folgt, ein blaues Wild,  
 Ein Aegendes unter dämmernden Bäumen,  
 Dieser dunkleren Pfaden  
 Wachend und bewegt von nächtigem Wohl laut,  
 Sanftem Wahnsinn;  
 Oder es tönte dunkler Verzückung  
 Voll das Saitenspiel  
 Zu den kühlen Füßen der Büberin  
 In der steinernen Stadt.

## PASSION

## 3-я РЕДАКЦИЯ

Когда, чуть серебрясь, Орфей в касанье флейты  
 В садах вечерних в плаче по Умершим,  
 Кто ты, Упокоенное возле стволов высоких?  
 Щемяще шепчется тростник осенний,  
 Пруд голубеющий,  
 Что чахнет в зелени роши  
 И следует за сестринскою тенью;  
 Таинственно-смутна любовь  
 Такого рода буйного,  
 Что на колесах золотых таранит день.  
 Но ночь тиха.

Под угрюмостью елей и пихт  
 В кровосмешении два волка  
 В окаменевшем объятьи; злато свое  
 Туча оставила прямо над этой тропой,  
 Терпеливо молчание детства.  
 Новая встреча с чутким покойником  
 Возле Тритонова пруда,  
 Спит в волосах он своих гиацинтоподобных.  
 Если б разбить наконец эту хладность вершины!

И все ж неуклонен путь синего зверя,  
 Под сумраком этих деревьев он зрящий,  
 По туманным следует тропам,  
 Бодрствуя и возбуждаясь от ночной симфонии звуков,  
 За нежным безумьем;  
 Или же, может, то смутный экстаз зазвучал  
 Струнных напевов  
 У хладных ног той, что несет покаянье  
 В закаменевшем сем граде.

## GESANG DES ABGESCHIEDENEN

*An Karl Borromaeus Heinrich*

Voll Harmonien ist der Flug der Vögel.  
Es haben die grünen Wälder  
Am Abend sich zu stilleren Hütten versammelt;  
Die kristallinen Weiden des Rehs.  
Dunkles besänftigt das Plätschern des Bachs, die feuchten Schatten

Und die Blumen des Sommers, die schon im Winde läuten.  
Schon dämmt die Stirne dem sinnenden Menschen.

Und es leuchtet ein Lämpchen, das Gute, in seinem Herzen  
Und der Frieden des Mahls; denn geheiligt ist Brot und Wein  
Von Gottes Händen, und es schaut aus nächtigen Augen  
Stille dich der Bruder an, daß er ruhe von dorniger Wanderschaft.  
O das Wohnen in der beseelten Bläue der Nacht.

Liebend auch umfängt das Schweigen im Zimmer die Schatten der Alten,  
Die purpurnen Martern, Klage eines grossen Geschlechts,  
Das fromm nun hingeht im einsamen Enkel.

Denn strahlender immer erwacht aus schwarzen Minuten des Wahnsinns  
Der Duldende an versteinerten Schwelle  
Und es umfängt ihn gewaltig die kühle Bläue und  
die leuchtende Neige des Herbstes,

Das stille Haus und die Sagen des Waldes,  
Maß und Gesetz und die mondenen Pfade der Abgeschiedenen.

## ПЕСНЬ ОТРЕШЕННОГО

*Карлу Борромеусу Хайнриху*

Мелодия птичьего полета. Зеленые перелески  
по вечерам льнут к шалашам молчаливым.  
Хрустально пастбище лани.  
Туманная смутность нежит журчащий ручей, влажные тени

и лета цветы; как прекрасен их звон на ветру!  
Но уже уходит в сумрак чело задумавшегося человека.

Светится лампочка – доброта – в его сердце,  
и трапезы умиротворенности; ибо освятили хлеб и вино  
Господние руки, и из ночи очей  
тихо брат тебя созерцает, отдыхая после странствий тернистых.  
О житие в одушевленной ночной Лазури!

Так же любя обнимает молчание комнаты праотцев тени,  
пурпур страдательный предков, плач великого рода,  
тот, что кротко сейчас умирает в груди одинокого внука.

Ибо разве не в осиянье восходит из черных безумья минут  
тот, кто претерпел у окаменевшего порога,  
разве не обнимает его мощно прохладная голубизна  
и светящийся склон осенний,

и тихий дом, и сага этого леса,  
и эта мера, и этот закон, и лунные тропы усопших.

## ABENDLIED

Am Abend, wenn wir auf dunklen Pfaden gehn,  
Erscheinen unsere bleichen Gestalten vor uns.

Wenn uns dürstet,  
Trinken wir die weißen Wasser des Teichs,  
Die Süße unserer traurigen Kindheit.

Erstorbene ruhen wir unterm Hollundergebüsch,  
Schaun den grauen Möven zu.

Frühlingsgewölke steigen über die finstere Stadt,  
Die der Mönche edlere Zeiten schweigt.

Da ich deine schmalen Hände nahm  
Schlugst du leise die runden Augen auf,  
Dieses ist lange her.

Doch wenn dunkler Wohllaut die Seele heimsucht,  
Erscheinst du Weiße in des Freundes herbstlicher  
Landschaft.

## ВЕЧЕРНЯЯ ПЕСНЯ

Когда на туманные тропы мы вечерами выходим,  
бледные образы наши встают и идут перед нами.

Когда же мы жаждем,  
то припадаем к белой озера влаге,  
к сладости грустного детства.

Когда умираем, то мирно лежим под бузинною тенью,  
следя за полетами чаек, их крыл серебристых.

Восходят весенние тучи над мрачностью града,  
который молчит о монахах эпох благородных.

Когда я однажды взял твои узкие руки,  
ты тихо глаза свои изумленно раскрыла.  
Давно это было.

Когда же туманная музыка душу мою настигает,  
в осенний друга ландшафт ты белою краской приходишь.

## STUNDE DES GRAMS

Schwärzlich folgt im herbstlichen Garten der Schritt  
Dem glänzenden Mond,  
Sinkt an frirender Mauer die gewaltige Nacht.  
O, die dornige Stunde des Grams.

Silbern flackert im dämmernden Zimmer der Leuchter des Einsamen,  
Hinsterbend, da jener ein Dunkles denkt  
Und das steinerne Haupt über Vergängliches neigt,

Trunken von Wein und nächtigem Wohllaut.  
Immer folgt das Ohr  
Der sanften Klage der Amsel im Haselgebüsch.

Dunkle Rosenkranzstunde. Wer bist du  
Einsame Flöte,  
Stirne, frirend über finstere Zeiten geneigt.

## ЧАС СКОРБИ

Ритмом лунных мерцаний –  
путь в чернотах осеннего сада.  
Припала к продрогшей стене эта могучая ночь.  
О, терновый час скорби!

В сумерках комнат серебряный свет – Отрешенного лампа.  
Угасая, слабея, он задумчив о Смутно-туманном.  
Голова каменеет, над Уходящим склоняясь;

винный хмель и блаженные отзвуки ночи.  
Ухо следует кроткому плачу дрозда,  
там – в лещины кустах.

О, как смутен молитвенный час! Кто ты –  
одинокая флейта,  
не чело ли, что холодея склонилось  
над времени черным провалом?

AN LUZIFER

3. FASSUNG

Dem Geist leih deine Flamme, glühende Schwermut;  
Seufzend ragt das Haupt in die Mitternacht,  
Am grünenden Frühlingshügel; wo vor Zeiten  
Verblutet ein sanftes Lamm, der Schmerzen tiefsten  
Erduldet; aber es folgt der Dunkle dem Schatten  
Des Bösen, oder er hebt die feuchten Schwingen  
Zur goldenen Scheibe der Sonne und es erschüttert  
Ein Glockenton die schmerzzerrissene Brust ihm,  
Wilde Hoffnung; die Finsternis flammenden Sturzes.

К ЛЮЦИФЕРУ

3-я РЕДАКЦИЯ

Раскаленность тоски, духу отдай своё пламя;  
Стонет глава, вздыбившись в полночь,  
Возле зеленой весенней горы; где когда-то  
Кротко агнец кровью истек, тяжкие муки  
Приняв; и все ж таки Смутный  
Выбрал тень Зла, либо же поднял он  
Мокрые крылья к круглому золоту солнца,  
Звон колокольный внезапно потряс его грудь,  
Что разрываема болью была; первобытность надежды;  
Пламенный путь низверженья во тьму.

## WINTERNACHT

Es ist Schnee gefallen. Nach Mitternacht verläßt du betrunken von purpurnem Wein den dunklen Bezirk der Menschen, die rote Flamme ihres Herdes. O die Finsternis!

Schwarzer Frost. Die Erde ist hart, nach Bitterem schmeckt die Luft. Deine Sterne schließen sich zu bösen Zeichen.

Mit versteinerten Schritten stampfst du am Bahndamm hin, mit runden Augen, wie ein Soldat, der eine schwarze Schanze stürmt. Avanti! Bitterer Schnee und Mond!

Ein roter Wolf, den ein Engel würgt. Deine Beine klirren schreitend wie blaues Eis und ein Lächeln voll Trauer und Hochmut hat dein Antlitz versteinert und die Stirne erleicht vor der Wollust des Frostes;

oder sie neigt sich schweigend über den Schlaf eines Wächters, der in seiner hölzernen Hütte hinsank.

Frost und Rauch. Ein weißes Sternenhemd verbrennt die tragenden Schultern und Gottes Geier zerfleischen dein metallenes Herz.

O der steinerne Hügel. Stille schmilzt und vergessen der kühle Leib im silbernen Schnee hin.

Schwarz ist der Schlaf. Das Ohr folgt lange den Pfaden der Sterne im Eis.

Beim Erwachen klangen die Glocken im Dorf. Aus dem östlichen Tor trat silbern der rosige Tag.

## ЗИМНЯЯ НОЧЬ

Снегопад. Захмелев от пурпурных вин, покидаешь ты, полуночник, мрачную местность людей, полыхание красных печей. Здравствуй, тьма!

О, сколь чёрен мороз. Жёстка земля, горек воздух на вкус. Это звезды твои в злые знаки сошлись.

Закаменевшей походкой топаешь ты по железнодорожным развилкам, с выпученными глазами, словно солдат, что штурмует черный окоп. Avanti!\*

Горьки и снег и луна!

Красный волк, ангел душит его. Твои ноги в движенье скрипят словно снег голубой, а улыбка, печали полна снисходительно гордой, в камень лепит лицо, сладострастьем мороза бел твой лоб;

либо молча склоняется лик твой над сторожа сном, павшим ниц в деревянной избушке.

Ярость мороза и дым. Белоснежная звездность сорочки обжигает спину и плечи, сердца железо терзают коршуны божьи.

Холм каменистый. Потихонечку тело, хладея, исчезает забвенно в снегах серебристых.

Сна чернота. Долго следует ухо по звездным тропам во льдах.

Пробужденье внутри колокольного звона в деревне. Из восточных ворот входит весь в серебре розовеющий день.

---

\* Вперед (*ит.*).

## DIE RATTEN

In Hof scheint weiß der herbstliche Mond.  
Vom Dachrand fallen phantastische Schatten.  
Ein Schweigen in leeren Fenstern wohnt;  
Da tauchen leise herauf die Ratten

Und huschen pfeifend hier und dort  
Und ein gräulicher Dunsthauch wittert  
Ihnen nach aus dem Abort,  
Den geisterhaft der Mondschein durchzittert

Und sie keifen vor Gier wie toll  
Und erfüllen Haus und Scheunen,  
Die von Korn und Früchten voll.  
Eisige Winde im Dunkel greinen.

## КРЫСЫ

Белым светом осенней луны залит двор.  
От карнизов под крышею – фантастика теней.  
Молчание в окнах пустых затаилось как вор.  
Крысы неслышно выходят, заполняя ходы и ступени.

И, попискивая, мелькают уже то там, то тут,  
И ужасающий смог движется за ними следом  
Из уборной, где они что-то жрут,  
И где луна пронизывает всё призрачно-дрожащим светом.

И, жадничая, они бранятся, безумея до драк.  
И заполняют собой дом и амбара просторы,  
Полные зерна и овощей и винных фляг.  
Леденящий ветер постанывает, прочесывая во мраке заборы.



ELIS

3. FASSUNG

1

Vollkommen ist die Stille dieses goldenen Tags.  
Unter alten Eichen  
Erscheinst du, Elis, ein Ruhender mit runden Augen.

Ihre Bläue spiegelt den Schlummer der Liebenden.  
An deinem Mund  
Verstummen ihre rosigen Seufzer.

Am Abend zog der Fischer die schweren Netze ein.  
Ein guter Hirt  
Führt seine Herde am Waldsaum hin.  
O! wie gerecht sind, Elis, alle deine Tage.

Leise sinkt  
An kahlen Mauern des Ölbaums blaue Stille,  
Erstirbt eines Greisen dunkler Gesang.

Ein goldener Kahn  
Schaukelt, Elis, dein Herz am einsamen Himmel.

ЭЛИС

3-я РЕДАКЦИЯ

1

Этого дня золотого тишина совершенна.  
Под кроной старых дубов  
ты являешься, Элис, спокойный, с удивленьем во взоре.

В синеве твоих глаз отражённа полудрема влюбленных.  
На губах твоих  
шепоты их, розоподобные, тихнут.

По вечерам тащит на берег рыбарь тяжелые сети.  
Добрый пастух  
стадо выводит из леса.  
О! как чисты все, без изъятия, дни твои, Элис!

Молча у голой стены  
тишина голубая оливы склонилась,  
старца смутная песня тихо угасла.

Челн золотой,  
то твое сердце, о Элис, в небесах одиноких качается тихо!

Ein sanftes Glockenspiel tönt in Elis' Brust  
Am Abend,  
Da sein Haupt ins schwarze Kissen sinkt.

Ein blaues Wild  
Blutet leise im Dornengestrüpp.

Ein brauner Baum steht abgeschieden da;  
Seine blauen Früchte fielen von ihm.

Zeichen und Sterne  
Versinken leise im Abendweiher.

Hinter dem Hügel ist es Winter geworden.  
Blaue Tauben  
Trinken nachts den eisigen Schweiß,  
Der von Elis' kristallener Stirne rinnt.

Immer tönt  
An schwarzen Mauern Gottes einsamer Wind.

Нежные колокольные звоны Элиса грудь наполняют,  
едва вглубь черной подушки голова его  
вечером никнет.

Синий зверь одичалый, раненый, кровоточит  
молча в терновника чаше.  
Дерево, в темную желть погружаясь,  
стоит одно на отшибе;  
голубые плоды его падают с веток пустынных.

Знаки и звезды чуть слышно  
тонут в водах вечерних.

А за Холмом уже зимы, может быть, наступили.  
Голуби голубые  
по ночам пот холодный вкушают,  
что по лба хрусталою Элиса всё струится.

Неустанно поет  
возле стен черных одинокий Господа ветер.

ABENDLAND

4. FASSUNG

*Else Lasker-Schüler in Verehrung*

1

Mond, als träte ein Totes  
Aus blauer Höhle,  
Und es fallen der Blüten  
Viele über den Felsenpfad.  
Silbern weint ein Krankes  
Am Abendweiher,  
Auf schwarzem Kahn  
Hinüberstarben Liebende.

Oder es läuten die Schritte  
Elis' durch den Hain  
Den hyazinthenen  
Wieder verhallend unter Eichen.  
O des Knaben Gestalt  
Geformt aus kristallinen Tränen,  
Nächtigen Schatten.  
Zackige Blitze erhellen die Schläfe  
Die immerkühle,  
Wenn am grünenden Hügel  
Frühlingsgewitter ertönt.

ЗАПАД

4-я РЕДАКЦИЯ

*Эльзе Ласкер-Щюлер с почитительностью*

1

Луна, то словно из пещеры голубой  
Покойник вышел,  
И хлынули соцветья лепестков  
На тропы между скал.  
Серебряные плачи: то Болящее  
Близ пруда сумерек,  
Влюбленные на черной лодке,  
Переправляясь, умерли.

Но Элиса шаги  
Звучат еще по этой роще  
По гиацинтовой,  
Здесь, под дубами затихая как и прежде.  
О силуэт подростка,  
Сформованный из слёз его хрустальных  
Да из теней ночных.  
Когда весенняя гроза  
Возле зеленого холма поёт,  
Зигзаги молний  
На лбу и на висках его, всегда холодных,  
Блистательны.

So leise sind die grünen Wälder  
 Unserer Heimat,  
 Die kristallne Woge  
 Hinsterbend an verfallner Mauer  
 Und wir haben im Schlaf geweint;  
 Wandern mit zögernden Schritten  
 An der dornigen Hecke hin  
 Singende im Abendsommer,  
 In heiliger Ruh  
 Des fern verstrahlenden Weinbergs;  
 Schatten nun im kühlen Schoß  
 Der Nacht, trauernde Adler.  
 So leise schließt ein mondener Strahl  
 Die purpurnen Male der Schwermut.

Ihr großen Städte  
 Steinern aufgebaut  
 In der Ebene!  
 So sprachlos folgt  
 Der Heimatlose  
 Mit dunkler Stirne dem Wind,  
 Kahlen Bäumen am Hügel.  
 Ihr weithin dämmernden Ströme!  
 Gewaltig ängstet  
 Schaurige Abendröte  
 Im Sturmgewölk.  
 Ihr sterbenden Völker!  
 Bleiche Woge  
 Zerschellend am Strande der Nacht,  
 Fallende Sterne.

Какая тишина в лесах зеленых  
 Отчизны нашей!  
 Хрустальная волна  
 Вновь умирает у дряхлеющей плотины,  
 И мы, заплаканы во сне;  
 Шагами трепетными странствуем  
 Вдоль изгородей в зарослях шиповных,  
 Поем по вечерам (о лето, лето)  
 Покой священный  
 Виноградников, промытых далеко сквозящими лучами;  
 А вот уже и тени на груди прохлады,  
 То ночь, орел печальный.  
 Неслышно лунный луч кладет  
 Пурпурный знак тоски венчающей.

Громады городские,  
 Как вы взметнулись каменно,  
 Подмяв равнину!  
 Сколь бессловесно наблюдает  
 Здесь безродный с затуманенным челом  
 За ветром,  
 За обнаженностью деревьев у холма.  
 О вы, потоки, брезжащие вдалеке!  
 Могучий страх  
 Закатов жутких, повечерий  
 Сквозь облачные ураганы.  
 Вы, умирающие племена!  
 Бледна волна,  
 Что в берег Ночи бьется,  
 Звезд низверженья.

## IM FRÜHLING

Leise sank von dunklen Schritten der Schnee,  
Im Schatten des Baums  
Heben die rosigen Lider Liebende.

Immer folgt den dunklen Rufen der Schiffer  
Stern und Nacht;  
Und die Ruder schlagen leise im Takt.

Balde an verfallener Mauer blühen  
Die Veilchen,  
Ergrünt so stille die Schläfe des Einsamen.

## ВЕСНОЙ

Тихо снег прогибается под темнеющим шагом.  
О, как розовы веки любимой  
под теньями деревьев!

Только зовам плывущий в лодке покорен,  
зовам смутным, туманным; ночь и звезды;  
вёсла в такт ударяют чуть слышно.

У развалин стены  
начинают фиалки цвести;  
зеленеют утайно сны Отрешенного.

AM ABEND

2. FASSUNG

Noch ist gelb das Gras, grau und schwarz der Wald;  
Aber am Abend dämmert ein Grün auf.  
Der Fluß kommt von den Bergen kalt und klar  
Tönt im Felsenversteck; also tönt es,  
Wenn du trunken die Beine bewegst; wilder Spaziergang  
Im Blau; und die entzückten Schreie der Vögelchen.  
Die schon sehr dunkel, tiefer neigt  
Die Sterne sich über bläuliche Wasser, Weibliches;  
Untergehend wieder in grünem Abendgezweig.  
Schritt und Schwermut tönt einträchtig  
in purpurner Sonne.

ВЕЧЕРОМ

2-я РЕДАКЦИЯ

Трава желта еще, а лес – то сер, то чёрен.  
Но вечером уже дымится зелень.  
И с гор река идет, хладна, чиста,  
поет в протоке скальном тайно, тихо.  
И тот же звук, когда бредешь чуть пьяный,  
и всё – в ногах: путь дикий в Синеве;  
и птички восхищенные трезвонят.  
И вот уж тьма совсем, все глубже, глубже  
ты голову склоняешь на источник, на голубую воду, бабье лоно!  
И снова возвращаешься в закат в зеленой роще.  
И шаг твой и тоска звучат мелодией одной  
сквозь пурпур солнца.

## NÄCHTLICHE KLAGE

### 1. FASSUNG

Die Nacht ist über der zerwühlten Stirne aufgegangen  
Mit schönen Sternen  
Am Hügel, da du von Schmerz versteinert lagst,

Ein wildes Tier im Garten dein Herz fraß.  
Ein feuriger Engel  
Liegst du mit zerbrochener Brust auf steinigem Acker,

Oder ein nächtlicher Vogel im Wald  
Unendliche Klage  
Immer wiederholend in dornigem Nachtgezweig.

## НОЧНЫЕ СЛЕЗЫ

### 1-я РЕДАКЦИЯ

Над помутившимся лбом взошла  
прекрасными звездами ночь  
на Холме, где, каменя от боли, лежал ты простёрт,

дикий зверь пожирал твоё сердце в саду.  
И вот, пылающий ангел на каменном поле,  
лежишь ты с разорванной грудью

или же птицей ночью в лесу  
бесконечно жалобу льешь  
вновь и вновь сквозь колючие ветви ночные.

## DER HEILIGE

Wenn in der Hölle selbstgeschaffener Leiden  
Grausam-unzüchtige Bilder ihn bedrängen  
– Kein Herz ward je von lasser Geilheit so  
Berückt wie seins, und so von Gott gequält  
Kein Herz – hebt er die abgezehrten Hände,  
Die unerlösten, betend auf zum Himmel.  
Doch formt nur qualvoll-ungestillte Lust  
Sein brünstig-fieberndes Gebet, des Glut  
Hinströmt durch mystische Unendlichkeiten.  
Und nicht so trunken tönt das Evox  
Des Dionys, als wenn in tödlicher,  
Wutgeifernder Ekstase Erfüllung sich  
Erzwingt sein Qualschrei: Exaudi me, o Maria!

## СВЯТОЙ

Когда в аду самозарождающихся страданий  
его одолевают развязно-развратные образы –  
никогда еще ни одно сердце не подвергалось  
таким неистовым обольщениям сладострастья  
и одновременно было столь мучительно захвачено Богом,  
ни одно сердце – он воздевает молитвенно к небу истощенные,  
безблагодатные руки, однако  
страстно-возбужденная молитва, чей жар устремлен  
в мистическую бесконечность,  
производит лишь мучительно-неутолимую похоть.  
И даже вопли Диониса звучат не столь хмельно и пьяно,  
как в смертельном, бешено-разъяренном,  
достигшем финала экстазе  
его мучительный вопль сам себя разрывает:  
Exaudi, me, o Maria!\*

---

\* Услышь меня, о Мария! (лат.).

## DIE HEIMKEHR

### 2. FASSUNG

Die Kühle dunkler Jahre,  
Schmerz und Hoffnung  
Bewahrt zyklologisch Gestein,  
Menschenleeres Gebirge,  
Des Herbstes goldner Odem,  
Abendwolke –  
Reinheit!

Anschaut aus blauen Augen  
Kristallne Kindheit;  
Unter dunklen Fichten  
Liebe, Hoffnung,  
Daß von feurigen Lidern  
Tau ins starre Gras tropft –  
Unaufhaltsam!

O! dort der goldene Steg  
Zerbrechend im Schnee  
Des Abgrunds!  
Blaue Kühle  
Odmets das nächtliche Tal,  
Glaube, Hoffnung!  
Gegrüßt du einsamer Friedhof!

## ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ

### 2-я РЕДАКЦИЯ

Прохлада лет затуманенных,  
Боль и надежду  
Оберегают циклопические камни,  
Безлюдье гор,  
Осеннее золотое дуновенье,  
Закатность облака –  
О чистота!

Чье созерцание из глаз голубизны?  
Кристалла детства.  
Любовь, надежда  
Под тенью сосен,  
Когда ж с ресниц горячих  
Капает роса в травы увядшестъ –  
Неудержимо!

Вон мостик золотой,  
Разрушили его снега  
Из бездны!  
В ночной долине  
Синева прохлады дышит,  
Надежда, вера!  
Забытому погосту поклонись!

## KLAGE L I E D

Die Freundin, die mit grünen Blumen gaukelnd  
Spielt in mondenen Gärten –  
O! was glüht hinter Taxushecken!  
Goldener Mund, der meine Lippen rührt,  
Und sie erklingen wie die Sterne  
Ueber dem Bache Kidron.  
Aber die Sternennebel sinken über der Ebene,  
Tänze wild und unsagbar.  
O! meine Freundin deine Lippen  
Granatapfellippen  
Reifen an meinem kristallinen Muschelmund.  
Schwer ruht auf uns  
Das goldene Schweigen der Ebene.  
Zum Himmel dampft das Blut  
Der von Herodes  
Gemordeten Kinder.

## СЛЁЗНАЯ ПЕСНЬ

Подруга моя, порхающая с зелеными цветами,  
Играющая в лунных садах –  
O! что только ни цветет за живой изгородью у тебя!  
Золотистые уста твои губ моих коснулись,  
И они запели как звезды  
Над потоком Кедрона.  
Вдруг звездная тьма опустилась над тихой долиной,  
Несказанны дикие танцы.  
O! подруга моя, уста твои,  
Твои гранатоваяблоневые губы  
Зреют возле моего хрустального моллюскового рта.  
Как тяжело оперлось о нас  
Молчание долины золотое.  
Дымится, испаряясь к небу, кровь  
младенцев,  
что убил здесь Ирод.

\* \* \*

Nimm blauer Abend eines Schläfe, leise ein Schlummerndes  
Unter herbstlichen Bäumen, unter goldener Wolke.  
Anschaut der Wald; als wohnte der Knabe ein blaues Wild  
In der kristallinen Woge des kühlen Quells  
So leise schlägt sein Herz in hyazinthener Dämmerung,  
Trauert der Schatten der Schwester, ihr purpurnes Haar;  
Dieses flackert im Nachtwind. Versunkene Pfade  
Nachtwandelt jener und es träumt sein roter Mund  
Unter verwesenden Bäumen; schweigend umfängt  
Des Weihers Kühle den Schläfer, gleitet  
Der verfallene Mond über seine schwärzlichen Augen.  
Sterne versinkend im braunen Eichengeäst.

\* \* \*

Прими синий вечер этого сна, тихую полуявь  
под деревьями осени, под облаком золотым.  
Лес наблюдателен; мальчик здесь жил, синяя дикая птичка  
в хрустальной волне прохлады ручья.  
О, как тихо сердце билось его в гиацинтовых сумерках,  
где печалился призрак сестры, пурпур волос ее.  
Как их ветер ночной развевал! Затонувшие тропы,  
ночами здесь кто-то бродяжил, рот его алый мечтателен  
под тленом гниющих деревьев; озерность прохлады  
спящего молча держит в объятых, лунная гибельность  
по глазам, в черноту уходящим, пробегает скользяще.  
Звезды в бурости тонут дубовых ветвей.

## ABENDLÄNDISCHES LIED

O der Seele nächtlicher Flügelschlag:  
Hirten gingen wir einst an dämmernden Wäldern hin  
Und es folgte das rote Wild, die grüne Blume und der lallende Quell  
Demutsvoll. O, der uralte Ton des Heimchens,  
Blut blühend am Opferstein  
Und der Schrei des einsamen Vogels über  
der grünen Stille des Teichs.

O, ihr Kreuzzüge und glühenden Martern  
Des Fleisches, Fallen purpurner Früchte  
Im Abendgarten, wo vor Zeiten die frommen Jünger gegangen,  
Kriegsleute nun, erwachend aus Wunden und Sternenträumen.  
O, das sanfte Zyanenbündel der Nacht.

O, ihr Zeiten der Stille und goldener Herbste,  
Da wir friedliche Mönche die purpurne Traube gekeltert;  
Und rings erglänzten Hügel und Wald.  
O, ihr Jagden und Schlösser; Ruh des Abends,  
Da in seiner Kammer der Mensch Gerechtes sann,  
In stummem Gebet um Gottes lebendiges Haupt rang.

O, die bittere Stunde des Untergangs,  
Da wir ein steinernes Antlitz in schwarzen Wassern beschaun.  
Aber strahlend heben die silbernen Lider die Liebenden:  
E i n Geschlecht. Weihrauch strömt von rosigen Kissen  
Und der süße Gesang der Auferstandenen.

## ПЕСНЬ ВЕЧЕРНЕЙ СТРАНЫ

О, крылья ночные души:  
когда-то здесь мы, в обличье пастушьем, брели  
вдоль закатно темневших лесов, а за нами шли следом  
алая птица лесная, зеленый цветок, поющий ручей –  
само покорство. О, первобытная песня сверчка,  
цветение крови под жертвенным камнем;  
над зеленым безмолвием глади озерной –  
крик одинокой птицы.

О, крестоносцев походы, сквозь огненность пыток,  
сквозь плотскость мучений; паденье пурпурных фруктов  
в вечерних садах,  
где некогда кротко апостолы трогали землю,  
и вот здесь – солдаты, очнувшись от ран, от звездных видений.  
О, нежный букет васильковый – Ночи букет!

О, века тишины и возвратного осени злата,  
когда мы, монахи, блаженно пурпур давили лоз виноградных,  
а вокруг, осиянно, стояли холмы и леса.  
О ритмы охоты, о замки; вечерний покой,  
когда человек, отрешенный, в праведной думе  
безмолвно молился, в бореньях за Бога живую вершину.

О, горькое время заката, когда в черных водах  
мы лик каменеющий видим. И все же в сиянье  
распахнуты веки влюбленных серебряным светом:  
то пола единство. Здесь ладан струится от розовых простынь,  
блаженное пенье воскресших.

## VERKLÄRUNG

Wenn es Abend wird,  
Verläßt dich leise ein blaues Antlitz.  
Ein kleiner Vogel singt im Tamarindenbaum.

Ein sanfter Mönch  
Faltet die erstorbenen Hände.  
Ein weißer Engel sucht Marien heim.

Ein nächtiger Kranz  
Von Veilchen, Korn und purpurnen Trauben  
Ist das Jahr des Schauenden.

Zu deinen Füßen  
Öffnen sich die Gräber der Toten,  
Wenn du die Stirne in die silbernen Hände legst.  
Stille wohnt

An deinem Mund der herbstliche Mond,  
Trunken von Mohnsaft dunkler Gesang;

Blaue Blume,  
Die leise tönt in vergilbtem Gestein.

## ПРОСВЕТЛЕНИЕ

Едва за вечереет, как  
голубеющий лик тебя покидает неслышно.  
Птичка поет в ветвях тамаринда.

Кроток монах,  
сложивший свои отжившие руки.  
Белый ангел настигает Марию.

Ночи венки  
из фиалок, жита и пурпурных гроздьев –  
вот он, год созерцателя.

У ног твоих  
разверзаются тотчас могилы умерших,  
едва укрывается лоб твой в рук серебро.

Молча живет  
на губах твоих месяц осенний,  
пьяный от смутного пенья маковых соков.

Цветок голубой  
тихо поет в камнях пожелтевших.

## FÖHN

Blinde Klage im Wind, mondene Wintertage,  
Kindheit, leise verhallen die Schritte an schwarzer Hecke,  
Langes Abendgeläut.  
Leise kommt die weiße Nacht gezogen,

Verwandelt in purpurne Träume Schmerz und Plage  
Des steinigen Lebens,  
Daß nimmer der dornige Stachel ablasse  
vom verwesenden Leib.  
Tief im Schlummer aufseufzt die bange Seele,

Tief der Wind in zerbrochenen Bäumen,  
Und es schwankt die Klagegestalt  
Der Mutter durch den einsamen Wald

Dieser schweigenden Trauer; Nächte,  
Erfüllt von Tränen, feurigen Engeln.  
Silbern zerschellt an kahler Mauer ein kindlich Gerippe.

## ФЁН

Жалоба ветру слепая, лунные зимние дни, детство,  
смокли шаги возле черной ограды,  
долгие колокольные в сумерках звоны.  
Тихо приходит, улегшись, белая ночь,

превращая в сновиденный пурпур  
боль этой каменной жизни,  
не устающей вгонять терновое жало  
в гниющую плоть.  
Робко вздыхает душа в глубокой дремоте,

в сломы деревьев глубоко врывается ветер,  
матери образ скорбящий, шатаясь, идет  
по пустынному лесу

этой безмолвной печали; но́чи –  
о, как полны они слез и ангелов страстных.  
Звоном серебряным вдребезги в голость стены –  
детские мощи.

\* \* \*

Die Stille der Verstorbenen liebt den alten Garten,  
Die Irre die in blauen Zimmern gewohnt,  
Am Abend erscheint die stille Gestalt am Fenster

Sie aber ließ den vergilbten Vorgang herab –  
Das Rinnen des Glasperlen erinnerte an unsere Kindheit,  
Nachts fanden wir einen schwarzen Mond im Wald

In eines Spiegels Bläue tönt die sanfte Sonate  
Lange Umarmungen  
Gleitet ihr Lächeln über des Sterbenden Mund.

\* \* \*

Тишина мертвых, любящая старину садов,  
дурочку, живущую в голубеющих комнатах,  
по вечерам у окна – тих ее силуэт.

Когда же она опускает желтоватые портьеры,  
струенье бисера напоминает о нашем детстве,  
когда мы по ночам в лесу искали черную луну.

Медленно звучит соната в голубизне зеркал;  
долгие объятия;  
скользит ее улыбка над умирающим ртом.

<WIND, WEISSE STIMME, DIE AN DES  
TRUNKNEN SCHLÄFE FLÜSTERT...>

1. FASSUNG

Wind, weiße Stimme, die an des Schläfers Schläfe flüstert  
In morschem Geäst hockt das Dunkle in seinem purpurnen Haar

Lange Abendglocke, versunken im Schlamm des Teichs  
Und darüber neigen sich die gelben Blumen des Sommers.  
Konzert von Hummeln und blauen Fliegen in Wildgras und Einsamkeit,  
Wo mit rührenden Schritten ehdem Ophelia ging  
Sanftes Gehaben des Wahnsinns. Ängstlich wogt das Grün im Rohr  
Und die gelben Blätter der Wasserrosen, zerfällt ein Aas in heißen Nesseln  
Erwachend umflattern den Schläfer kindliche Sonnenblumen.

Septemberabend, oder die dunklen Rufe der Hirten,  
Geruch von Thymian. Glühendes Eisen sprüht in der Schmiede  
Gewaltig bäumt sich ein schwarzes Pferd; die hyazinthene Locke der Magd  
Hascht nach der Inbrunst seiner purpurnen Nüstern.  
Zu gelber Mauer erstarrt der Schrei des Rebhuhns verrostet  
in faulender Jauche ein Pflug  
Leise rinnt roter Wein, die sanfte Gitarre im Wirtshaus.  
O Tod! Der kranken Seele verfallener Bogen Schweigen und Kindheit.

Aufflattern mit irren Gesichtern die Fledermäuse.

<ВЕТЕР, БЕЛЫЙ ГОЛОС, ШЕПОТКОМ  
НА УХО ПЬЯНОМУ...>

1-я РЕДАКЦИЯ

Ветер, белый голос, шепотком на ухо пьяному.  
На ломких ветвях Смутное, на корточках,  
пурпуром волос себя укрывшее.

Долгие вечерние звоны, тонушие в омуте пруда,  
Клонятся по берегам желтые лета цветы.  
Концерт голубых мух и шмелей в буйствующих злаках;  
Одиночество; здесь когда-то трепещущим шагом Офелия шла,  
Кроткая в жестах безумья. Боязливо колышется зелень  
в волнах камыша,  
Желтые листья кувшинок, запах тленья давней приманки  
в жгучей крапиве.  
Колыханье подсолнухов детства над спящим,  
в миг пробужденья.

Вечер сентябрьский, смутные зовы пастушьи,  
Запах тимьяна. В кузнице брызги пыланья железа.  
Конь вороной мощно встал на дыбы;  
гиацинтовый локон служанки,  
Устремлённый вслед за ноздрей его пурпуром страстным.  
В желтую стену цепко вонзённый крик куропатки,  
Плуг, заржавевший в лености жижи навозной.  
Винного пурпура медленное струенье,  
нежность трактирной гитары.  
О умиранье! Изболевшей души рушится арка.  
Молчанье и детство.

Безумные лики взлетевших летучих мышей.

<WIND, WEISSE STIMME, DIE AN DES  
TRUNKNEN SCHLÄFE FLÜSTERT...>

2. FASSUNG

Wind, weiße Stimme, die an des Trunknen Schläfe flüstert;  
Verwester Pfad. Lange Abendglocken versanken im Schlamme des Teichs  
Und darüber neigen sich die gelben Blumen des Herbstes,  
flackern mit irren Gesichtern

Die Fledermäuse.

Heimat! Abendrosiges Gebirg! Ruh! Reinheit!  
Der Schrei des Geiers! Einsam dunkelt der Himmel,  
Sinkt gewaltig das weiße Haupt am Waldsaum hin.  
Steigt aus finsternen Schluchten die Nacht.

Erwachend umflattern den Schläfer kindliche Sonnenblumen.

<ВЕТЕР, БЕЛЫЙ ГОЛОС, ШЕПОТКОМ  
НА УХО ПЬЯНОМУ...>

2-я РЕДАКЦИЯ

Ветер, белый голос, шепотком на ухо пьяному;  
Тлеет тропа. Долгие вечерние звоны, тонущие в омуте пруда,  
Желтые цветы осени по берегам, промельк  
Мышей летучих с безумием в ликах.

О родина! О розы гор вечерних! Покой и чистота!  
Крик коршуна! Гаснет одинокое небо,  
Никнет могуче седая глава на леса опушке.  
Из мрачных ущелий вздымается Ночь.

Колыханье подсолнухов детства над спящим,  
в миг пробужденья.

\* \* \*

Rote Gesichter verschlang die Nacht,  
An härener Mauer  
Tastet ein kindlich Gerippe im Schatten  
Des Trunkenen, zerbrochenes Lachen  
Im Wein, glühende Schwermut,  
Geistesfolter – ein Stein verstummt  
Die blaue Stimme des Engels  
Im Ohr des Schläfers. Verfallenes Licht.

\* \* \*

Лиц красноту ночь заглотила, поглотила,  
К стене волосяной наощупь детская скелетность  
В тени того, кто пьян, разорванные простыни  
В вине, тоскою обожженность,  
Духовность пытки – камень умолкает.  
Глас голубой, то ангел –  
В ухо спящему. Померкший свет.

## DIE SONNE

Täglich kommt die gelbe Sonne über den Hügel.  
Schön ist der Wald, das dunkle Tier,  
Der Mensch; Jäger oder Hirt.

Rötlich steigt im grünen Weiher der Fisch.  
Unter dem runden Himmel  
Fahrt der Fischer leise im blauen Kahn.

Langsam reift die Traube, das Korn.  
Wenn sich stille der Tag neigt,  
Ist ein Gutes und Böses bereitet.

Wenn es Nacht wird,  
Hebt der Wanderer leise die schweren Lider;  
Sonne aus finsterer Schlucht bricht.

## СОЛНЦЕ

Снова и снова уходит за Холм наше желтое солнце.  
Прекрасны лес, зверь туманный,  
человек – охотник или быть может пастух.

В зеленом пруду розовато мерцает рыба.  
Под небом округлым  
рыбак в голубеющей лодке неслышно скользит.

Неспешно здесь зреют и лозы, и жито.  
Но клонится день в тишине,  
и являются зло и добро.

Когда же ночь наступает,  
осторожно Странник свои поднимает тяжелые веки;  
солнце из черной бездны хлещет в упор.

## DAS GEWITTER

Ihr wilden Gebirge, der Adler  
Erhabene Trauer.  
Goldnes Gewölk  
Raucht über steinerner Öde.  
Geduldige Stille odmen die Föhren,  
Die schwarzen Lämmer am Abgrund,  
Wo plötzlich die Bläue  
Seltsam verstummt,  
Das sanfte Summen der Hummeln.  
O grüne Blume –  
O Schweigen.

Traumhaft erschüttern des Wildbachs  
Dunkle Geister das Herz,  
Finsternis,  
Die über die Schluchten hereinbricht!  
Weiße Stimmen  
Irrend durch schaurige Vorhöfe,  
Zerrißne Terrassen,  
Der Väter gewaltiger Groll, die Klage  
Der Mütter,  
Des Knaben goldener Kriegsschrei  
Und Ungebornes  
Seufzend aus blinden Augen.

O Schmerz, du flammendes Anschauen  
Der großen Seele!  
Schon zuckt im schwarzen Gewühl  
Der Rosse und Wagen  
Ein rosenschauriger Blitz

## ГРОЗА

Как дики эти горы,  
Печаль орлов высока.  
Над каменным плато  
Облака золотые курятся.  
Тишиной вековечною ведают сосны.  
Вдоль пропасти края – черные овцы,  
Где лазурь вдруг  
сморкает так странно –  
нежное шмелей гуденье.  
О зеленый цветок –  
О безмолвье!

Упоённо как в сказке здесь пьешь  
Неведомость духов, ручья первобытность,  
Этот мрак, сквозь ущелья  
Бьющий стремглаво!  
Блуждает по жутким площадкам  
Белизна голосов,  
По террасам в разрывах –  
Отцовский карающий гнев,  
Плач материнский и зовы,  
Военные кличи мальчишек златые,  
И Нерожденное здесь же,  
В слепых глазах его – вздохи.

О боль, ты – пламенное созерцание  
Великой души!  
И вот уж сверкание розовосмертное молний  
В зареве сосен поющем,  
В смятенности черной коней и возничих.

In die tönende Fichte.  
Magnetische Kühle  
Umschwebt dies stolze Haupt,  
Glühende Schwermut  
Eines zürnenden Gottes.

Angst, du giftige Schlange,  
Schwarze, stirb im Gestein!  
Da stürzen der Tränen  
Wilde Ströme herab,  
Sturm-Erbarmen,  
Hallen in drohenden Donnern  
Die schneeigen Gipfel rings.  
Feuer  
Läutert zerrissene Nacht.

Магнетический хлад,  
Овевающий гордую эту вершину.  
Как пылающа Божья тоска  
В кипени гнева!

Страх, о змея ядовитая,  
Сгинь чернотою в камнях!  
Слезы диких потоков,  
Неситесь, неситесь!  
Буря жалости, грома угрозы  
Вторят по кругу  
в снежных вершинах.  
Огонь очищенья  
В истерзанной нóчи.

## KLAGE

Schlaf und Tod, die düstern Adler  
Umrauschen nachklang dieses Haupt:  
Des Menschen goldnes Bildnis  
Verschlänge die eisige Woge  
Der Ewigkeit. An schaurigen Riffen  
Zerschellt der purpurne Leib  
Und es klagt die dunkle Stimme  
Über dem Meer.  
Schwester stürmischer Schwermut  
Sieh ein ängstlicher Kahn versinkt  
Unter Sternen,  
Dem schweigenden Antlitz der Nacht.

## ЖАЛОБА

Сон и смерть – два угрюмых орла –  
по ночам овевают крылами эту вершину:  
золотой человеческий образ  
поглотила студеными волнами вечность.  
Алость плоти о страшные рифы разбилась,  
плачет голос – таинственно-смутный –  
над морем.  
О сестра, ты подруга моей штормящей тоски,  
посмотри: то испуганный челн  
в звезды глубже и глубже уходит,  
в Лик безмолвия ночи.

## DIE NACHT

Dich sing ich wilde Zerklüftung,  
Im Nachtsturm  
Aufgetürmtes Gebirge;  
Ihr grauen Türme  
Überfließend von höllischen Fratzen,  
Feurigem Getier,  
Rauhen Farnen, Fichten,  
Kristallinen Blumen.  
Unendliche Qual,  
Daß du Gott erjagtest  
Sanfter Geist,  
Aufseufzend im Wassersturz,  
In wogenden Föhren.  
Golden lodern die Feuer  
Der Völker rings.  
Über schwärzliche Klippen  
Stürzt todestrunken  
Die erglühende Windsbraut,  
Die blaue Woge  
Des Gletschers  
Und es dröhnt  
Gewaltig die Glocke im Tal:  
Flammen, Flüche  
Und die dunklen  
Spiele der Wollust,  
Stürmt den Himmel  
Ein versteinertes Haupt.

## Ночь

Вас воспеваю, трещины в скалах глухие,  
В буре ночной  
Между летящих уступов;  
Серые башни и замки  
Шутовством бесовским перекрыты,  
Огненно-красным зверьем,  
Папоротников шушанием, пихт,  
Хрустальным свеченьем цветов.  
Мука без края –  
Погоня за Богом  
В обществе кроткого Духа,  
Чьи вздохи – во тьме водопада,  
В кипенье форели.  
В пожарах народов  
Всё золото напрочь сгорает.  
От черных утёсов  
Вниз мчится, упившись смертельно,  
Багровая ветра невеста, то шквальная буря,  
Волна голубая  
Глетчера  
И колокол  
Мощно гудящий –  
Тот, что в долине:  
Огонь и проклятья  
И смутные  
Сны сладострастья,  
Окаменевшей главою  
Ты небо, ты небо штурмуешь.

## SOMMER

Am Abend schweigt die Klage  
Des Kuckucks im Wald.  
Tiefer neigt sich das Korn,  
Der rote Mohn.

Schwarzes Gewitter droht  
Über dem Hügel.  
Das alte Lied der Grille  
Erstirbt im Feld.

Nimmer regt sich das Laub  
Der Kastanie.  
Auf der Wendeltreppe  
Rauscht dein Kleid.

Stille leuchtet die Kerze  
Im dunklen Zimmer;  
Eine silberne Hand  
Löschte sie aus;

Windstille, sternlose Nacht.

## ЛЕТО

Вечерами молкнут в лесу  
зовы кукушки.  
Глубже клонится рожь,  
головки мака пылают.

Черные грозы  
движутся над холмами.  
Древняя песня сверчка  
умирает в полях.

Не шелохнется листок  
ни на миг у каштана.  
По лестнице винтовой  
платье твое шелестит.

Тихо свечка зажглась  
в твоей комнате темной;  
серебристость руки  
погасила ее.

Ни дуновенья: беззвездная ночь.

IN EIN ALTES STAMMBUCH

Immer wieder kehrst du Melancholie,  
O Sanftmut der einsamen Seele.  
Zu Ende glüht ein goldener Tag.

Demutsvoll beugt sich dem Schmerz der Geduldige  
Tönend von Wohllaut und weichem Wahnsinn.  
Siehe! es dämmert schon.

Wieder kehrt die Nacht und klagt ein Sterbliches  
Und es leidet ein anderes mit.

Schauernd unter herbstlichen Sternen  
Neigt sich jährlich tiefer das Haupt.

В СТАРИННЫЙ ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИЙ АЛЬБОМ

Тоска, ты возвращаешься снова и снова;  
О кротость души одинокой.  
Пылание дня золотого уже на исходе.

Смиренно покорствуешь боли Полный-терпенья,  
прозенный пенья блаженством и кротким безумьем.  
Взгляни же! Уж сумерки входят.

Ночь снова вернулась, и смертное сетует снова,  
и молча одно страдает другому.

Под звездами осени в дрожи  
ты голову клонишь с годами всё ниже, всё глубже.

\* \* \*

So leise läuten  
Am Abend die blauen Schatten  
An der weißen Mauer.  
Stille neigt sich das herbstliche Jahr.

Stunde unendlicher Schwermut,  
Als erlitt' ich den Tod um dich.  
Es weht von Gestirnen  
Ein schneeiger Wind durch dein Haar.

Dunkle Lieder  
Singt dein purpurer Mund in mir,  
Die schweigsame Hütte unserer Kindheit,  
Vergessene Sagen;

Als wohnt' ich ein sanftes Wild  
In der kristallinen Woge  
Des kühlen Quells  
Und es blühten die Veilchen rings.

\* \* \*

Возле белой стены  
тихие звоны  
голубых теней вечерами.  
Тайно в молчанье клонится год мой осенний.

Пора бесконечной тоски,  
словно я смерть возле тебя претерпел.  
Ветер созвездий заснеженный  
в волосы дует твои.

Таинство песен поют  
пурпурные уста твои во мне;  
детства приют наш молчит,  
позабыты сказанья;

словно бы жил я здесь  
кроткою дикою птицей  
в хрустальной волне лесного ручья,  
а вокруг столько фиалок цвело.

GESANG EINER GEFANGENEN AMSEL

*Für Ludwig von Ficker*

Dunkler Odem im grünen Gezweig.  
Blaue Blümchen umschweben das Antlitz  
Des Einsamen, den goldnen Schritt  
Ersterbend unter dem Ölbaum.  
Aufplattert mit trunknem Flügel die Nacht.  
So leise blutet Demut,  
Tau, der langsam tropft vom blühenden Dorn.  
Strahlender Arme Erbarmen  
Umfängt ein brechendes Herz.

ПЕСНЯ ПЛЕННОГО ДРОЗДА

*Людвигу фон Фикеру*

Таинственные дуновенья сквозь ствольную зелень.  
Голубые соцветья дышат тихо в лицо  
Одинокого; золотая походка его  
Замерла под оливой.  
Опьяненными крыльями взмыть пытается Ночь.  
Сколь утайна кровотокающая кротость;  
Капля за каплей роса с цветущего тёрна стекает.  
Лучистое рук состраданье  
Укрыло в объятых разбитое сердце.

IM DUNKEL

2. FASSUNG

Es schweigt die Seele den blauen Frühling.  
Unter feuchtem Abendgezweig  
Sank in Schauern die Stirne den Liebenden.

O das grünende Kreuz. In dunklem Gespräch  
Erkannten sich Mann und Weib.  
An kahler Mauer  
Wandelt mit seinen Gestirnen der Einsame.

Über die mondbeglänzten Wege des Walds  
Sank die Wildnis  
Vergessener Jagden; Blick der Bläue  
Aus verfallenen Felsen bricht.

В СУМЕРКАХ

2-я РЕДАКЦИЯ

Молчалива душа голубоокой весны.  
Под вечерними влажными кронами  
Лик влюбленного в дрожи и трепете.

О зеленеющий Крест! В таинстве разговора  
Познакомились Он и Она.  
Возле голой стены  
Одинокий бродяжит в объятьях созвездий.

Над облитой луною лесною тропой  
Затаилися чащи  
Забывтых охот; взор лазури  
Прорвался сквозь трещины скал.







## DAS HERZ

Das wilde Herz ward weiß am Wald;  
O dunkle Angst  
Des Todes, so das Gold  
In grauer Wolke starb.  
Novemberabend.  
Am kahlen Tor am Schlachthaus stand  
Der armen Frauen Schar;  
In jeden Korb  
Fiel faules Fleisch und Eingeweid;  
Verfluchte Kost!

Des Abends blaue Taube  
Brachte nicht Versöhnung.  
Dunkler Trompetenruf  
Durchfuhr der Ulmen  
Nasses Goldlaub,  
Eine zerfetzte Fahne  
Vom Blute rauchend,  
Daß in wilder Schwermut  
Hinlauscht ein Mann.  
O! ihr ehernen Zeiten  
Begraben dort im Abendrot.

Aus dunklem Hausflur trat  
Die goldne Gestalt  
Der Jünglingin  
Umgeben von bleichen Monden,  
Herbstlicher Hofstaat,  
Zerknickten schwarze Tannen  
Im Nachtsturm,  
Die steile Festung.  
O Herz  
Hinüberschimmernd in schneeige Kühle.

## СЕРДЦЕ

Дикое сердце в лесу поседевшее;  
О темный страх,  
Смертный:  
В сером облаке  
Золото в гибели.  
Ноябрьский вечер.  
У обшарпанных бойни ворот –  
Бедных женщин толпа;  
В каждый короб –  
По куску отбросов мясных;  
Омерзительность пищи!

Вечера голубоголубь  
Не принес примиренья.  
Смутно-таинственный зов трубы  
Сквозь влажно-золотую  
Листву вязов,  
Разодранное в клочья знамя,  
Дымящееся кровью,  
В дикой тоске  
В даль вслушивается некто.  
О! в бронзовом веке  
Погребают всегда на закате.

Из темных сеней  
Золотой силуэт показался  
Девушки юной,  
Провожатые ей – бледные луны;  
Осенний хутор,  
Черные ели,  
Надломленные в буре ночной,  
Крута ты, твердыня.  
О сердце,  
Уходишь в мерцание снежного хлада.

\* \* \*

Gestalt die lange in Kühle finstern Steins gewohnt  
Oeffnet tönend den bleichen Mund  
Runde Eulenaugen – Tönendes Gold.

Verfallen und leer fanden jene die Höhle des Walds  
Den Schatten einer Hirschkuh im morschen Geäst  
Am Saum der Quelle die Finsternis seiner Kindheit.

Lange singt ein Fogel am Waldsaum deinen Untergang  
Die bange Schauer deines braunen Mantels;  
Erscheint der Schatten der Eule im morschen Geäst.

Lange singt ein Vogel am Waldsaum deinen Untergang  
Die bange Schauer deines blauen Mantels  
Erscheint der Schatten der Mutter im spitzen Gras.

Lange singt ein Vogel am Waldsaum deinen Untergang  
Die bange Schauer deines schwarzen Mantels  
Erscheint der Schatten des Rappens im Spiegel des Quells.

\* \* \*

Силуэт долго живший в прохладе угрюмого камня  
Дал звучание бледному рту,  
Как округлы совиные очи – звонкое золото.

*Те* нашли обветшалым, пустым логово леса  
С тенью самки оленя в заглохших кустах.  
Сумрак детства его на краю ручья-родника.

Долго птица о закате твоём поет на опушке.  
Всюду созерцатели робкие буро́го твоего плаща;  
Тень совы в заглохших кустах объявилась.

Долго птица поет о закате твоём на опушке у леса.  
Всюду созерцатели робкие твоего голубого плаща.  
Материнская тень появилась в траве порыжевшей.

О, как долго птица поет о закате твоём на опушке.  
Созерцатели черного твоего плаща.  
Тень коня вороного в зеркальности вод появилась.

## DIE SCHWERMUT

Gewaltig bist du dunkler Mund  
Im Innern, aus Herbstgewölk  
Geformte Gestalt,  
Goldner Abendstille;  
Ein grünlich dämmernder Bergstrom  
In zerbrochener Föhren  
Schattenbezirk;  
Ein Dorf,  
Das fromm in braunen Bildern abstirbt.

Da springen die schwarzen Pferde  
Auf nebliger Weide.  
Ihr Soldaten!  
Vom Hügel, wo sterbend die Sonne rollt  
Stürzt das lachende Blut –  
Unter Eichen  
Sprachlos! O grollende Schwermut  
Des Heeres; ein strahlender Helm  
Sank klirrend von purpurner Stirne.

Herbstesnacht so kühle kommt,  
Erglänzt mit Sternen  
Ueber zerbrochenem Männergebein  
Die stille Mönchin.

## ТОСКА

Как вы могучи, темные уста  
душевной глуби, из туч осенних  
сотворенный образ,  
вечернее безмолвье золотое,  
в зеленых берегах мерцает  
с гор поток между разбитых сосен,  
тень властвует;  
деревня  
умирает кротко в ландшафтах бурых.

Резвятся кони черные  
на пастбище туманном.  
О солдатня!  
С холма, где катит солнце в смерть,  
смеющаяся кровь  
потоком вниз – в безмолвие дубов!  
О войск озлоблённых тоска;  
бряцающая, шлем сверкающий  
срывается со лбов пурпурных.

Осенний ночи холод.  
Осиянная звездами  
монашка тихая ступает  
по костям мужчин.

## IM OSTEN

Den wilden Orgeln des Wintersturms  
Gleicht des Volkes finstrer Zorn.  
Die purpurne Woge der Schlacht,  
Entlaubter Sterne.

Mit zerbrochnen Brauen, silbernen Armen  
Winkt sterbenden Soldaten die Nacht.  
Im Schatten der herbstlichen Esche  
Seufzen die Geister der Erschlagenen.

Dornige Wildnis umgürtet die Stadt.  
Von blutenden Stufen jagt der Mond  
Die erschrockenen Frauen.  
Wilde Wölfe brachen durchs Tor.

## НА ВОСТОКЕ

Оргáнной оголтелости бурь зимних  
Подобна вся мрачная орд ярость,  
Пурпуровые шквалы битв,  
Звезд оголившихся.

Умирающим солдатам ночь кивает  
Разбитыми бровями, рук серебром.  
В тени осеннего ясеня  
Стонут убиенных души.

Дикий терновник окаймляет город.  
Кровью уступов гонит луна  
Испуганных женщин.  
Дикие волки прорвали ворота.

GRODEK

2. FASSUNG

Am Abend tönen die herbstlichen Wälder  
Von tödlichen Waffen, die goldnen Ebenen  
Und blauen Seen, darüber die Sonne  
Düstrer hinrollt; umfängt die Nacht  
Sterbende Krieger, die wilde Klage  
Ihrer zerbrochene Münder.  
Doch stille sammelt im Weidengrund  
Rotes Gewölk, darin ein zürnender Gott wohnt  
Das vergoßne Blut sich, mondne Kühle;  
Alle Straßen münden in schwarze Verwesung.  
Unter goldnem Gezweig der Nacht und Sternen  
Es schwankt der Schwester Schatten durch den schweigenden Hain,  
Zu grüßen die Geister der Helden, die blutenden Häupter;  
Und leise tönen im Rohr die dunkeln Flöten des Herbstes.  
O stolze Trauer! ihr ehernen Altäre  
Die heiße Flamme des Geistes nährt heute ein gewaltiger Schmerz,  
Die ungeborenen Enkel.

ГРОДЕК

2-я РЕДАКЦИЯ

Озвучены по вечерам осенние леса  
Оружием смертельным, и золотые равнины,  
И голубые озера, солнце над которыми  
Всё угрюмее катит; эта ночь обнимает  
Солдат умирающих, вопли дикие  
Ртов их разорванных напрочь.  
И все ж тихо, неслышно собираются в ивовой лощине  
Красные тучи, где обитают разгневанный Бог,  
Пролившаяся кровь, лунная прохлада;  
Любая из дорог впадает в черноту распада.  
Под золотом ветвей ночных и звездных  
Сестер блуждают нерешительные тени по роще онемевшей,  
Им поклониться нужно бы героев душам,  
их кровоточащим ликам;  
Как тихо поет осенних флейт столь сумрачный тростник.  
О гордая печаль! из бронзы все алтари твои.  
Горячее пламя духа питает сегодня могучую боль,  
Нерожденных внуков.

IM SCHNEE

(NACHTERGEBUG) 1. FASSUNG

Der Wahrheit nachsinnen –  
Viel Schmerz!  
Endlich Begeisterung  
Bis zum Tod.  
Winternacht  
Du reine Mönchin!

В СНЕГУ

(ПОСВЯЩЕНИЕ В НОЧЬ. 1-я РЕДАКЦИЯ)

Наполняться истиной –  
Сколько боли!  
Последний экстаз –  
Вплоть до смертного мига.  
Зимняя ночь –  
О монашенка, как ты чиста!

## VERWANDLUNG DES BÖSEN

### 2. FASSUNG

Herbst: schwarzes Schreiten am Waldsaum; Minute stummer Zerstörung; auflauscht die Stirne des Aussätzigen unter dem kahlen Baum. Langverganger Abend, der nun über die Stufen von Moos sinkt; November. Eine Glocke läutet und der Hirt führt eine Herde von schwarzen und roten Pferden ins Dorf. Unter dem Haselgebüsch weidet der grüne Jäger ein Wild aus. Seine Hände rauchen von Blut und der Schatten des Tiers seufzt im Laub über den Augen des Mannes, braun und schweigsam; der Wald. Krähen, die sich zerstreuen; drei. Ihr Flug gleicht einer Sonate, voll verblichener Akkorde und männlicher Schwermut; leise löst sich eine goldene Wolke auf. Bei der Mühle zünden Knaben ein Feuer an. Flamme ist des Bleichsten Bruder und jener lacht vergraben in sein purpurnes Haar; oder es ist ein Ort des Mordes, an dem ein steiniger Weg vorbeiführt. Die Berberitzen sind verschwunden, jahrlang träumt es in bleierner Luft unter den Föhren; Angst, grünes Dunkel, das Gurgeln eines Ertrinkenden: aus dem Sternenweiher zieht der Fischer einen großen, schwarzen Fisch, Antlitz voll Grausamkeit und Irrsinn. Die Stimmen des Rohrs, hadernder Männer im Rücken schaukelt jener auf rotem Kahn über frierende Herbstwasser, lebend in dunklen Sagen seines Geschlechts und die Augen steinern über Nächte und jungfräuliche Schrecken aufgetan. Böse.

## ТРАНСФОРМАЦИЯ ЗЛА

### 2-я РЕДАКЦИЯ

Осень: черные шаги вдоль лесной опушки; минута немого распада; чуткий лоб прокаженного под деревом голым. Давний вечер вновь по мшистым ступеням ниже и ниже; ноябрь. Колокольное пенье, пастух возвращает в деревню табун лошадей, вороных и огненно-красных. Под лещины кустом совсем зеленый юнец дичь, убитую им, потрошит. Руки кровью дымятся, а зверя душа, бура и безмолвна, вздыхает на его глазах; лес. Воробы врасыпную; три. Полет их подобен сонате, где много поблекших аккордов и мужественной печали; тихо исстает облако золотое. У мельницы мальчишки жгут костер. Пламя – брат самого бледного, он смеется, погружаясь в пурпурные волосы огня; но быть может это место, где свершилось убийство, сбоку уходит дорога в горы. Барбарисы исчезли, круглый год длится греза под соснами, чей воздух свинцов. Страх, зеленые сумерки, клетот утопленника: из звездного озера тащит рыбак большущую черную рыбу, лик ее – ужаса смесь и безумья. Поет камышовый тростник; за спинами спорящих посреди стылых осенних вод плывет тот, что на них не похож, он покачивается в красной лодке, он живёт таинственными сказаниями предков, окаменело распахнув взор в ночь и в девственный ужас. Зло.

Was zwingt dich still zu stehen auf der verfallenen Stiege, im Haus deiner Väter? Bleierne Schwärze. Was hebst du mit silberner Hand an die Augen; und die Lider sinken wie trunken von Mohn? Aber durch die Mauer von Stein siehst du den Sternenhimmel, die Milchstraße, den Saturn; rot. Rasend an die Mauer von Stein klopft der kahle Baum. Du auf verfallenen Stufen: Baum, Stern, Stein! Du, ein blaues Tier, das leise zittert; du, der bleiche Priester, der es hinschlachtet am schwarzen Altar. O dein Lächeln im Dunkel, traurig und böse, daß ein Kind im Schlaf erbleicht. Eine rote Flamme sprang aus deiner Hand und ein Nachtfalter verbrannte daran. O die Flöte des Lichts; o die Flöte des Tods. Was zwang dich still zu stehen auf verfallener Stiege, im Haus deiner Väter? Drunten ans Tor klopft ein Engel mit kristallnem Finger.

O die Hölle des Schlafs; dunkle Gasse, braunes Gärtchen. Leise läutet im blauen Abend der Toten Gestalt. Grüne Blümchen umgaukeln sie und ihr Antlitz hat sie verlassen. Oder es neigt sich verblichen über die kalte Stirne des Mörders im Dunkel des Hausflurs; Anbetung, purpurne Flamme der Wollust; hinsterbend stürzte über schwarze Stufen der Schläfer ins Dunkel.

Jemand verließ dich am Kreuzweg und du schaust lange zurück. Silberner Schritt im Schatten verkrüppelter Apfelbäumchen. Purpurn leuchtet die Frucht im schwarzen Geäst und im Gras häutet sich die Schlange. O! das Dunkel; der Schweiß, der auf die eisige Stirne tritt und die traurigen Träume im Wein, in der Dorfschenke unter schwarzverrauchtem Gebälk. Du, noch Wildnis, die rosige Inseln zaubert aus dem braunen Tabaksgewölk und aus dem Innern den wilden Schrei eines Greifen holt, wenn er um schwarze Klippen jagt in Meer, Sturm und Eis.

Du, ein grünes Metall und innenein feuriges Gesicht, das hingehen will und singen vom Beinerhügel finstere Zeiten und den flammenden Sturz des Engels. O! Verzweiflung, die mit stummem Schrei ins Knie bricht.

Ein Toter besucht dich. Aus dem Herzen rinnt das selbstvergossene Blut und in schwarzer Braue nistet unsäglicher Augenblick; dunkle Bewegung. Du – ein purpurner Mond, da jener im grünen Schatten des Ölbaums erscheint. Dem folgt unvergängliche Nacht.

Что ж заставляет тебя тихо стоять на ветхих ступенях дома предков твоих? Свинцовая чернота. Что поднимаешь рукой серебрястой к глазам, если веки слипаются, как опьяненные маком? Но за стеною из камня ты видишь звездное небо, Млечный путь, Сатурн; он красен. Обнаженное дерево бешено бьется о камень стены. Это и есть ты сам на ветхих, прогнивших ступеньках: звезда, дерево, камень! Ты и есть дикий зверь голубой, что тихо дрожит; ты и есть бледный жрец, чей так черен алтарь, на котором казнишь. А улыбка твоя в темноте так печальна и зла, что ребенок бледнеет во сне. Из ладоней твоих вырывается красное пламя, и сгорает ночной мотылек в нем. О, флейта света; о, флейта смерти! Что ж заставляет тебя продолжать тихо стоять на ветхих ступенях дома предков твоих? Ведь внизу ангел пальцем хрустальным стучит и стучит в ворота.

О, преисподняя сна; темный проулок, маленький сад побуревший. Тихие звоны силуэта покойницы вечером синим. Хороводы зеленых цветов, а потом всё ее покидает. Или же это: в темной прихожей мертвенный лик над холодным убийцы челом; мольбы, пурпурный пламень желанья; в медленном смертном уходе ринулся спящий во мрак по черным ступеням.

Кто-то покинул тебя на перекрестке путей, и ты долго смотришь назад. Серебрян твой шаг меж корявых маленьких яблонь. В черных ветвях пурпурно светится плод, а в травах змея старую кожу с себя соскребает. О, этот мрак; пот на лбу ледяном, мрачные винные грезы в деревенской корчме, где потолок прокуренный чёрен. Но ты всё еще дикий пейзаж, что волхвует волшебные розовые острова из густого табачного дыма, а из глубин твоих рвется дикий вопль грифа, когда он в охотничьем раже над черными рифами в море среди бури и льдов. Ты – зеленый металл с пылающим ликом внутри, что вырваться жаждет, чтоб спеть с Холма-из-костей о страшной эпохе, где ангел пламенно пал. O! Отчаянье с воплем безмолвным падает ниц.

Мертвец посещает тебя. Из сердца глубин самозабвенная кровь устремляется прочь, а во мраке бровей несказанность

мгновенья гнездится; неведомость встречи. Ты – пурпурный  
месяц, взошедший в зеленой оливы тени. Что ж далее, там? Не-  
преходящая ночь.

*ПРИЛОЖЕНИЕ*

МАРТИН ХАЙДЕГГЕР

ЯЗЫК ПОЭМЫ

ИСТОЛКОВАНИЕ (ПОИСК МЕСТНОСТИ)  
ПОЭЗИИ ГЕОРГА ТРАКЛЯ

Истолковать (erörtern) подразумевает здесь прежде всего: указать на место, на местность (in den Ort weisen), подтолкнуть к месту. Далее это означает: обратить внимание на это место. И то, и другое – и указание на место, и внимательное рассмотрение места – суть предварительно-подготовительные шаги истолкования. Однако с нашей стороны уже достаточная смелость, если в дальнейшем мы удовольствуемся лишь этими предварительными шагами. Истолкование, если следовать ходу мысли, завершается вопросом. Вопросает же оно о локализованности места, о мествовании места, об уместности места.

Истолкование касается Георга Тракля лишь в том смысле, что оно есть размышление о местности его поэзии/стихотворения. Такой подход для эпохи, интересующейся лишь голой экспрессией (трактуемой исторически, биографически, психоаналитически, социологически), может представляться очевидной односторонностью, если не ложным путем. Истолкование припоминает местность.

Изначальный смысл слова «Ort» (место) – острие копья. В нем все сходится. Место-острие стягивает все в себя в высшей и предельной степени. Место-острие (собранное, сосредоточенное в себе), настигая, добывает для себя, храня и утаивая добытое, однако не в форме некоего запирающегося ящика, но таким образом, что оно просвечивает свою добычу, пронизывает ее светом и лишь посредством этого впускает в свою сущность.

И вот теперь необходимо истолковать, изъяснить ту местность, которая концентрирует поэтическую речь Георга Тракля в поэтическое целое, изъяснить местность его поэмы.

Всякий великий поэт поэтствует из <глубины> одной-единственной поэмы/стихотворения. Его величие измеряется тем, в какой степени ему удастся быть в доверительных отношениях с этой единственностью, и притом так, чтобы его поэтическая речь пребывала там во всей чистоте.

Поэма поэта остается невыговоренной. Ни каждое отдельное стихотворение, ни вся их совокупность не изъясняют всего. И все же каждое произведение говорит из совокупной целостности этой единственной поэмы и каждый раз сказывает именно ее. Из местности поэмы исходит волна, каждый раз движущаяся

щая речь в качестве речи поэтической. Однако эта волна почти не покидает местности поэмы, так что это истечение вполне позволяет целостному движению сказывания возвращаться в неизменно укрываемый первоисток. Место поэмы, утаивая, спасает – в качестве истока движущейся волны – скрытую сущность того, что метафизически-эстетическому представлению может являться прежде всего в качестве ритма.

Поскольку эта единственная поэма пребывает в невысказанности, истолковать ее место (уместить – *erörtern*) можно лишь следующим образом: попытаться из высказываний отдельных стихотворений указывать в направлении их местности. Однако для этого надо каждому отдельному стихотворению дать свое истолкование, которое приведет звучащий строй, пронизывающий ярким светом все поэтическое сказывание, к некоему первосиянию.

Нетрудно увидеть, что подлинный комментарий предполагает истолкование местности. Лишь из местности поэмы светятся и звучат отдельные стихотворения. И наоборот: толкование-оместование всей поэмы нуждается в предваряющем этапе первоистолкований отдельных стихотворений.

В этой взаимообусловленности толкования-оместования и толкования-озвученности и происходит всякий мыслящий диалог с творением поэта.

Собственно диалог с творением поэта, конечно же, поэтический: поэтический разговор между поэтами. Однако возможна также, а иногда даже и необходима, доверительная беседа *мышления* с поэзией, и именно потому, что им обоим свойственно исключительно-особое, хотя при этом и различное, взаимодействие с языком.

Беседа (с-говор) мышления с поэзией происходит для того, чтобы выявить *существо* языка, с тем, чтобы смертные вновь учились проживать в языке.

Диалог мышления с поэзией долог. Сейчас он едва начат. По отношению к творчеству Георга Тракля он нуждается в особой сдержанности. Мыслящий диалог с поэзией творчеству может служить лишь косвенно. Поэтому есть опасность, что он скорее может помешать поэтическому сказыванию, вме-

сто того чтобы содействовать осуществлению поэтического пения из его собственной упокоенности и тишины.

Толкование-оместование (*die Erörterung*) поэмы есть мыслящий диалог с творением. Однако он не дает картину мировоззрения поэта, в равной мере не занят он осмотром его мастерской. Истолкование творчества ни в коем случае не может заменить слушания стихотворений, не может оно им и руководить. Мыслящее истолкование может сделать слушание крайне сомнительным и лишь в самом благоприятном случае – более вдумчивым.

Помня об этих ограничениях, попытаемся вначале указать на местность этой неизреченной поэмы. Притом что исходить мы должны из стихов изреченных. Встает вопрос: из каких именно? Каждое из траклевских стихотворений, при всей их несхожести, указывает на одну и ту же поэтическую местность, что и является подтверждением уникальной гармонии его стихов, соответствующей основному тону его поэмы.

Так что предпринимаемая здесь попытка указания на ее местность может довольствоваться немногими строфами, стихами и строками. Неизбежна иллюзия, будто при этом мы действуем произвольно. Однако в своем выборе мы руководствовались следующим намерением: достичь местности творения поэта посредством своего рода молниеносного прыжка.

## I

Одно из стихотворений сказывает:

Это – душа, на Земле чужестранка.

Эта фраза перво-наперво ввергает нас в привычное представление. Она представляет нам Землю как нечто смертное в смысле преходящего. Душа же, напротив, является в качестве непреходящего, неземного, сверхъестественного. Душа, со времен Платонова учения, принадлежит к сверхчувственному. Если же она являет себя в чувственном, то лишь потому, что ее туда нечто забрасывает. Здесь, «на Земле», она не в своей тарелке.

Она не принадлежит Земле. Душа здесь «чужестранна», нечто чужое, пришелец (ein Fremdes). Тело – темница души, если не нечто более худшее. Так что душе, очевидно, не остается ничего другого, как по возможности поскорее покинуть эту сферу чувственного, – сферу, которая, рассматриваемая платонически, есть неистинно-сущее, всего лишь преходяще-тленное.

Но какова странность! Ведь строка

Это – душа, на Земле чужестранка, –

звучит в стихотворении, название которого – «Весна души» (149)\*. О неземной, сверхъестественной родине бессмертной души в нем нет ни слова. Это заставляет нас призадуматься и обратить внимание на язык поэта. Душа: «ein Fremdes» (нечто чужое, постороннее). В других стихотворениях Трагль часто и охотно пользуется той же языковой формой: «смертное», «смутное», «одинокое», «отжившее», «больное», «человеческое», «бледное», «мертвое», «молчащее». Эта лингвистическая форма, даже если забыть о различиях между соответствующими конкретными значениями, не всегда обладает одним и тем же смыслом. «Одинокое», «чужое», «постороннее» подразумевает нечто изолированное, уединенное, иногда оказывающееся тем «одиноким», что в силу случайности становится в том или ином отношении «чужим», «посторонним». «Постороннее» этого рода может быть вообще включено в категорию посторонних (чужих) вещей и там оставлено. Представляемая так, душа была бы лишь одним среди многих других случаев посторонности, чужести.

Но что значит «fremd» (чужой, чуждый, нездешний, иной, посторонний, неизвестный)? Под непривычно-чужеродным обычно понимают нечто неблизкое, не заслуживающее доверия, то, что не нравится, что скорее даже обременяет и тревожит. Однако «чужой» (fremd), древневерхненемецкое «*fram*», собствен-

но означает: куда-нибудь вперед, по пути в..., навстречу тому, что оставлено впереди. Чужое, постороннее, иное, нездешнее (das Fremde) странствует впереди. Однако оно отнюдь не блуждает бессмысленно, лишенное всяческого предназначения. Постороннее, чужое стремится отыскать местность, где оно могло бы пребывать странствующим. «Постороннее», едва приоткрыв ее для себя, уже следует зову на пути к ее достоянию.

Поэт называет душу «чужестранкой на этой Земле». Но место, куда она в своем странствии еще не смогла добраться, как раз и есть Земля. Душа впервые *ищет* Землю, отнюдь не бежит от нее. Странствуя, отыскивать Землю, чтобы себя на ней поэтически выстраивать и жить; и именно таким образом впервые суметь спасти Землю *в качестве* земли – таково наполнение сущности Души. И все же душа не является прежде всего душой и лишь затем, по неким иным причинам, еще и чем-то не принадлежащим Земле.

Строчка:

Душа – чужестранна на этой Земле, –

вернее выражает сущность того, что зовется «душой». Эта фраза ничего не сообщает о будто бы в ее сущности уже познанной Душе, равным образом и о том, что будто бы, в качестве дополнения, следовало лишь установить, что Душе нанесло удар нечто ей несоразмерное и потому поразительно-чуждое, и оттого не может она найти на Земле ни приюта, ни утешения. Вопреки всему этому Душа, будучи душой в сердцевине своей сущности, «чужестранна на этой Земле». И потому она продолжает находиться в пути и, странствуя, следует влечению своей сущности, своего существа. Между тем нас одолевает вопрос: куда, в каком направлении было позвано то, что в прокомментированном смысле есть «Постороннее», Чужое? Ответ дан в третьей части стихотворения «Грезящий Себастьян» (107):

О, как тихо движение вниз по синей реке.

Оживляешь забытые смыслы, а в зеленых ветвях  
дрозд запел, увлекая Чужое в закат.

\* Нумерация страниц дается по первому тому («Стихотворения») собрания сочинений Трагля, вышедшему в издательстве Отто Мюллера в Зальцбурге, шестое издание, 1948 год. (Сноска М. Хайдеггера).

Душу позвали на запад, в закат. Ах, вот как! Душе следует закончить свое земное странствие и покинуть Землю? Однако в названных стихах об этом нет и речи. И все же они говорят о «закате», «западе», «гибели» (Untergang). Всё так. Однако названный здесь закат не есть ни катастрофа, ни погибельное исчезновение. То, что плывет вниз по синей реке и тонет,

Тонет в покое и в молчании.

«Просветленная осень» (34)

Что это за покой? Покой покойника. Но какого именно? И в каком молчании?

То душа, но как же она чужестранна на этой Земле!

Стих, которому принадлежит эта строка, продолжается следующим образом:

... Духу подобна, брезжит  
сумеречная голубизна сквозь загубленный лес...

А перед этим названо солнце. Шаги Чужестранно-постороннего уходят в сумерки. «Брежжащая сумеречность» означает прежде всего наступление темноты. «Брезжит сумеречная голубизна». Темнеет, помрачается голубизна солнечного дня? Голубизна, исчезающая ввечеру в пользу ночи? Однако «сумеречность» отнюдь не обязательно есть уход дня как гибель его света в наступающем мраке. Сумеречность вообще-то отнюдь не обязательно означает заход, закат (Untergang). Ведь и утро сумеречно, утро тоже брезжит. Им начинается день. Сумеречность есть также и восход. Голубизна брезжит над «загубленным», громоздящимся, поваленным лесом. Синева ночи восходит ввечеру.

Синева брезжит «духоносно» (geistlich). Сумеречность, сумерки характеризуются «духоносностью» (das Geistliche). Что именно подразумевается под многократно упоминаемой «духоносностью», «священством» (Geistliche), о том нам еще

предстоит подумать. Сумерки – склон солнечного пути. Отсюда: сумерки – склон дня, равно как и склон года. Последняя строфа стихотворения, озаглавленного «Истаяло лето» (169), гласит:

Зеленое лето столь тихим  
внезапно стало; шаги чужеземца  
так звучны в пространстве серебряной ночи.  
Запомни тропы его дикой синего зверя,

блаженного пеня лет жизни его духоносных!

В стихотворении Тракля вновь и вновь повторяется это «so leise» (тихо, чуть слышно). Кажется, что «leise» обладает лишь одним смыслом: едва заметное для слуха. Именно в этом значении названное входит в наши представления. Однако «leise» означает «медленно»; *gelisian* означает «скользить». Медленное (тихое) есть ускользящее. Лето ускользает в осень, в вечер года.

...шаги чужеземца  
так звучны в пространстве серебряной ночи.

Кто этот чужеземец/пришелец (Fremdling)? Чьи это тропы, идя по которым, можно вспоминать «синего дикого зверя»? Вспоминать – значит «оживлять забытые смыслы»,

...а в зеленых ветвях  
дрозд запел, увлекая Чужое в закат.

(107, ср. 34)

Почему «дикий синий зверь» (ср. 99, 146) задумывается об Уходящем-в-закат? Не получает ли дикий зверь свою синеву из той «лазури», которая «духоносно брезжит» в наступающей ночи? Хотя ночь – темна, сумрачна, смутна. Однако сумрачность не обязательно мрак, тьма. В другом стихотворении (139) ночь окликается такими словами:

О, нежный синевасильковый букет Ночи!

Букет из цветов синего василька – это и есть ночь, нечто нежное, мягкое, кроткое. Соответственно этому синий дикий зверь называется еще и «робкой дичью» (104), «нежным зверем» (97). Букет в основание своей увязанности втягивает из синевы глубину священного. Священное (das Heilige) светит из синевы, одновременно утаивая себя в своем собственном сумраке. Священное сдерживает себя и вместе с тем укрывает. Оно одаривает своим прибытием, в то же время оберегая себя в утаивающе-сдержанном себя-отнятии. Утаиваемое в сумраке свеченье (Helle) есть синева. Первоначально hell, hallend (звонкий, звучащий) означало звук, исходивший из укрытости тишины, дающий себе таким образом ясность, свеченье. Синева звучит своим свеченьем и рассветным блеском, и одновременно она звенит. В звонкости ее свеченья сияет сумрак синевы.

Шаги чужеземца (пришельца) звенят сквозь серебряный блеск-звучанье Ночи. В одном из стихотворений (104) говорится:

В священную синеву уходят, звеня, светящиеся шаги.

В другом месте (110) синева описывается так:

...священства синих цветов... созерцатель коснулся.

Еще в одном стихотворении (85) есть такое место:

...Звериный лик  
оцепеневший пред Синевой, пред ее святостью.

Синева, лазурь – не образ для обозначения смысла Священного. Синева есть сама по себе (вследствие своей собирающе-концентрирующей, в самоутаивании светящейся глубины) Святое. Перед лицом Синевы, а также благодаря чистоте этой Синевы обретая самообладание, лицо животного цепенеет и трансформируется в лик дикого лесного существа.

Оцепенелость звериного лица – отнюдь не оцепенелость умершего. Цепenea, как бы застывая, лик зверя приходит в содрогание. Весь его облик обретает концентрацию, такую степень сосредоточенности, которая позволяет ему, овладев собой, смотреть в «зеркало истины» (85), двигаясь навстречу Священному. Созерцать означает: входить в Молчание.

Могуче молчанье, укрытое в камне. –

Так гласит следующая строка цитированного стихотворения. Камень есть со-крытие (Ge-birge)\* боли. Горная порода собирает и укрывает в каменности то кротко-нежное, что утишает боль сущностного. «Пред Синевой» боль умолкает. Перед лицом Синевы лик дикого зверя возвращает себя в кротость. Ибо Кроткое, по определению, есть миролюбиво сосредоточенное. Оно преобразовывает внутренний разлад тем, что всё раненое и обожженное дикой местности преодолевает в утишинной боли.

Кто тот сине-голубой дикарь, к которому взывает поэт? (Кстати, здесь можно было бы вспомнить и о Пришельце.) Зверь? Безусловно. Но только ли зверь? Ни в коем случае. Ибо он призван припоминать. Его лик высматривает Пришельца (Чужеземца) и устремленно всматривается в него. Лазоревый дикий зверь (das blaue Wild) – это животное, чья принадлежность к животному миру покоится скорее всего не в животности или звериности, но в той памятности созерцания, к которой взывает поэт. Звериность этого рода еще далека от нас и едва ли может быть увидена. Ибо звериность названного здесь зверя колеблется в неопределенности, которая еще не вошла в свою сущность. Этот зверь, а именно: зверь думающий, *animal rationale*, человек, – говоря словами Ницше, еще не вполне определился.

Это высказывание ни в коем случае не означает, будто человек еще «не установлен» как факт. Как раз он, пожалуй, даже слишком несомненен. Нет, имеется в виду вот что: звериность

\* Gebirge – горная порода, горы; bergen – сохранять, укрывать, прятать, таить. (Здесь и далее сноски – переводчика.)



...О, как серьезен гиацинтовый лик погружения  
в сумрак рассветный.  
«В пути» (102)

Духоносная, и в этом смысле священная, сумеречность столь исполнена сущности существования, что поэт называет одно из своих стихотворений – «Священные сумерки» (137). В нем тоже встречается дикий зверь, правда сумеречно-темный. Его «дикость», первобытность устремлена главным образом в темноту, в молчаливо-тихую синеву заката. При этом сам поэт движется «на черном облаке» сквозь «ночное озеро звездного неба».

Вот как звучит это стихотворение:

#### СВЯЩЕННЫЕ СУМЕРКИ

Тишина на опушке лесной  
обнимает смутного зверя.  
У холма тихо ветер вечерний скончался.

Дрозд устал от стенаний и плачей.  
Нежной осени флейты  
в тростнике приумолкли.

Опьяневши от мака,  
плыву на облаке черном  
по ночным озерным просторам,

по звездному небу.  
Лунный голос сестры всё поёт и поёт,  
заполняя священную ночь.

Звездное небо изображено в поэтическом образе ночного озера. Так это мыслит обыкновенность наших представлений. Однако ночное небо в подлинности его существа и есть озеро. В сравнении с ним то, что мы обычно называем ночью, скорее является именно что образом, то есть выцветшей и опустошен-

ной копией ее сущности. В стихи Тракля пруд, озеро, озерное зеркало приходят часто. То черные, то голубые воды являют человеку его собственный лик, встречно-отраженный взгляд. А в ночном озере звездного неба является брезжащая Синева духоносной ночи. Ее сияющий блеск – прохладен.

Исток прохладного свеченья – лунный свет. От сиянья Луны бледнеют и даже холодеют звезды, как о том повествуют стихи древнегреческих поэтов. Всё становится «лунным». Шагающего сквозь Ночь чужака, чужеземца зовут «Лунный» (134). «Лунный голос» сестры, неотступно звучащий в священной (духоносной) Ночи, слушает брат, плывущий в лодке, которая еще «черна» и едва озаряема золотом Чужеземца-пришельца, вослед которому он устремляется в своем ночном плавании по озеру.

Когда смертные отправляются странствовать вослед призванным в Закат «чужакам», в данном случае Чужеземцу-пришельцу, они сами оказываются в Чужом, сами становятся Чужеземными и Одинокими (64, 87 и др.).

В следовании по ночному звездному озеру (а это – небо над землей) душа ис-следует Землю лишь в ее «прохладной лимфе, свежем соке» (126). Душа ускользает в вечернюю брезжащую Голубизну духоносного года, становясь «осенней душой» и вследствие этого – «сине-голубой душой».

Немногие строфы и строки, упомянутые здесь, указывающие на духоносные (священные) сумерки, ведут на тропу Чужеземца, проясняя породу и путь тех, кто, вспоминая-помня о Чужеземце-пришельце, следуют за ним в Закат. Ко времени «склона лета» Чужое в своих странствиях становится осенним и сумрачным.

«Осенней душой» назвал Тракль стихотворение (124), предпоследняя строфа которого звучит так:

Рыбы, птицы прочь скользят.  
Скоро синь Души пробудим –  
Тех, любимых, позабудем.  
Образы вспуржит Закат.

Странники, следующие за Чужеземцем-пришельцем, очень скоро обнаруживают себя разведенными с «любимыми», являющимися для них «Теми», Другими. Другие, Иные, Те – это порода растленного образа человека.

Эти из одного замеса порожденные и в этом замесе, в этой породе перемешанные человеческие существа наш язык называет «родом» (Geschlecht). Слово это обозначает как человеческий род в смысле человечества, так и роды в смысле племен, кланов, колен и семей, а все это, в свою очередь, порождено в двойственности полов (der Geschlechter). Породу «разлагающегося образа» человека поэт называет «растленным родом» (186). Это выброшенный из сортности своего существа, своей сущности и потому – «ужасающий» (162) род.

Чем же этот род поражен и, значит, проклят? По-гречески проклятье звучит *πληγή*, по-немецки «Schlag» – удар; паралич; порода (людей). Проклятье растленного (выродившегося) рода состоит в том, что этот ветхий человеческий род разбит и разгромлен раздором полов. Изнутри этого раскола каждый из полов страстно устремлен к раскрепощающему восстанию некогда единой и обнаженной первобытности зверя. Не двуполость как таковая, но раздор и разлад являются проклятьем. Силой смуты слепой первобытности этот раздор вводит человеческий род в раздвоенность, обрекая таким образом на отпущенную разобщенность. Раздвоенный и расколотый «растленный род», исходя из себя самого уже не может больше быть в истинном ритме, в верном чекане. Верный, истинный ритм и чекан – лишь с тем родом, с той человеческой породой, которая, испытывая странствуя, свою двойственность решительно переводит из состояния внутреннего раздора в кротость простодушной двукратности, становящейся таким образом тем «Чужим», что следует за Чужеземцем-пришельцем.

По отношению к этому Пришельцу все потомки растленного, разлагающегося рода остаются Другими. Тем не менее любовь и уважение соотносятся именно с ними. Сумрачное странствие в компании с Пришельцем так или иначе приводит в Синеву его Ночи. Странствующая душа становится «лазоре-вой душой».

Однако одновременно с этим она есть душа ушедшая. Куда? Туда, где бредет Чужеземец (Fremdling), время от времени называемый указательным словом «Тот». «Тот» (Jener) в старонемецком звучало как «*ener*» и означало «другой». «*Ener dem Vach*» – другая сторона ручья. «Jener», Тот, Чужеземец, Пришелец – это другой по отношению к Другим, то есть к разлагающемуся человеческому роду. «Тот» (Некто) – это отозванный прочь от Других. Чужеземец – это У-единенный, Отделенный (Abgeschiedene)\*.

Куда указывает, куда направляет тот, кто принял в себя сущность Чужого, то есть странствующий впереди? Куда позван Чужак? В закат, в гибельный закат. Он есть Утрата-себя в духоносно-священных сумерках Синевы. Он движется из склонности к духоносному Году. И хотя этот склон должен проходить сквозь разрушительность близящейся зимы – сквозь ноябрь, тем не менее эта утрата-себя вовсе не означает впадения в неустойчивость или в уничтожение. Себя-утрата означает скорее некий буквальный смысл: отделение и медленное удаление, ускользание. Утративший себя исчезает в ноябрьской опустошительности, однако ни в коем случае не в ноябрьской опустошенности. Он скользит, минуя ее насквозь, в духоносные сумерки Синевы, «zur Vesper» (к Вечеру, вечерней звезде), то есть под вечер, ближе к ночи.

К ночи здесь потерял себя в черном ноябрьском хаосе  
чужак-незнакомец,  
в гуще ломких ветвей, вдоль настенной проказы;  
здесь незадолго монах проходил, с головою ушедший  
в нежные струн переборы безумья святого.  
«Гелиан» (87)

Вечер – это склон дня духоносного Года. Вечер осуществляет перемену, смену. Склоняясь к Духоносному, вечер дает возможность увидеть иное, задуматься об ином.

\* Основное значение слова «*der Abgeschiedene*» – усопший, покойник.

Светящееся, кажущееся (Scheinende), чьи облики (образы, формы) сказывает поэт, посредством этого вечера выявляет (кажет) Иное. Сущее, над невидимостью коего задумываются мыслители, посредством этого вечера находит поистине иное слово. Исходя из иных образов и смыслов, вечер трансформирует сказ поэзии и сказ мышления, трансформирует также и их диалог. Однако вечеру это удастся лишь потому, что он сам трансформируется, меняется, блуждает. Посредством него день движется к уклону, который отнюдь не является концом, но вследствие своей уникальной склонности подготавливает тот закат, благодаря которому Пришелец входит в *начальную фазу* своего странствия. Вечер меняет свой собственный образ и свой собственный смысл. В этой перемене скрыто прощание с прежним господством времени дня и времени года.

Однако куда сопровождает вечер сумеречное странствие лазоревой Души? Туда, где всё Иное накапливается, собирается, прячется и хоронясь для иного восхода.

Вышеназванные строки указывают на сосредоточение, на средоточие, то есть на некое место, местность. Что же это за местность? Как нам следует ее называть? И притом следуя мерке языка поэта, исходя из нее. Весь сказ поэзии Георга Тракля концентрируется вокруг странствующего Чужеземца-пришельца, находя в нем средоточие. Пришелец является и зовется Отрешенным, Отделенным (der Abgeschiedene). Именно посредством него и вокруг него поэтическая речь, поэтическое сказывание настроено на одну-единственную песнь. И поскольку поэтические создания этого поэта сконцентрированы в песне Отрешенного, мы называем местность его поэзии *Отрешенностью*.

Теперь нужно попытаться сделать второй шаг в истолковании-омествовании (Egörterung), подробнее озаботиться этой местностью, до сих пор лишь указанной.

А нельзя ли еще и специально, под углом зрения местности поэмы (Ort des Gedichtes), вдумчиво всмотреться в эту отрешенность? Если в общем, то пусть будет так, как будто мы, следуя за светлым взором тропы Пришельца, вопрошаем: кто этот Отрешенный? Каков пейзаж его троп?

Эти тропы проходят сквозь опьяняющую небесную лазурь. Свет, которым светятся его шаги, прохладен. Завершающая строка одного из тех стихотворений, что специально посвящены «Отрешенному», сообщает о «лунных тропах Отрешенных»\*. У нас таких отрешившихся и уединившихся зовут также мертвецами, покойниками. Но какой смертью умер этот Пришелец, этот чужак? В стихотворении «Псалом» Тракль говорит:

Умер безумец.

В следующей строфе говорится:

Погребают пришельца.

В «Семичастной песни смерти» («Семипсалмие смерти») его зовут «белым (седым) пришельцем». В последней строфе стихотворения «Псалом» сообщается:

В могиле своей играет со змеями белый колдун.

(65)

Умерший *живет* в своей могиле. Он живет там в своей камерке так тихо и мечтательно, что играет со своими змеями. Которые ничего против него не имеют. Они не задушены, а злое начало в них трансформировано. В то же время в стихотворении «Проклятые» (120) говорится:

\* «Die Abgeschlossenheit» означает отрешенность, уединенность, оторванность от жизни; «der Abgeschiedene» – соответственно тот, кто уже вполне «оторвался от жизни», – усопший, покойный, вполне отрешенный.

Гнездо ярко-красных змей плетется лениво  
в их взбудораженных недрах..

(Ср. 161, 164)

Умерший – это безумец. Имеется в виду душевнобольной? Нет. Безумие (*Wahnsinn*) вовсе не означает тот ум, что ошибочно избрал неумное, бессмысленное. «*Wahn*» (самообман, иллюзия, греза, заблуждение) восходит к древневерхненемецкому *wana* и означает *ohne* (без). Безумец (*der Wahnsinnige*) мыслит, размышляет (*sinnt*), и притом мыслит столь интенсивно, как обычно никто. Однако при этом он обходится без того сознания, без того разума (*Sinn*), что свойственны другим. В нем другое сознание. «*Sinnan*» (букв.: к смыслу) первоначально означало: путешествовать, устремляться к ..., выбрать направление; индогерманский корень *sent* (*set*) означает путь. Отрешенный, отошедший (*der Abgeschiedene*) – это тот безумец, чей путь лежит в каком-то ином направлении. Глядя оттуда, его безумие можно назвать «кротким» (*sanft*)\*, ибо он размышляет вослед более тихому, молчаливому, тайному. Стихотворение, где о Пришелеце говорится просто как о «Том», другом, гласит:

По каменной лестнице, по склону Монашьей горы  
Тот опускался. Голубела улыбка, и странно  
окуклившись в тихие детства затоны, он умер.

Стихотворение называется «К одному раноушедшему» (135). Отрешенный – это тот, кто медленно-тихо умер в юности. Поэтому он – «чуткий труп» (105, 146 и др.), погруженный в то детство, которое храняще утишивает в своей дикой местности всё страстное и пылающее. Поэтому умерший в юности является в качестве «смутного образа прохлады». О ней повествуется в стихотворении, названном «У Монашьей горы» (113):

Неотступно за Странником следует образ прохлады туманной,  
по костистой тропинке, где гиацинтовый мальчика голос  
тихо сказку лесную, давно позабытую нами, волхвует...

\* *sanft* – нежный, мягкий, кроткий (*нем.*).

«Смутный образ прохлады» идет не вослед страннику. Он идет впереди него, в то время как лазоревый голос мальчика возвращает забытое, как бы *суфлируя* его.

Кто же этот на жизненном рассвете тихо умерший отрок?  
Кто же этот отрок, чьё

..Тихо чело кровоточит:  
то древность легенд,  
темнота иероглифов птичьих полетов.  
(97)

Кто он, движущийся по усеянной костями тропинке путник?  
Поэт окликает его такими словами:

О, как давно уже, Элис, ты умер!

Элис – это призванный к гибели Пришелец. Однако Элис – ни в коем случае не образ, в котором Траклъ видел самого себя. Элис отличается от поэта столь же существенно, сколь мыслитель Ницше – от образа Заратустры. Но два этих образа сходятся в том, что их сущность, существо и их странствие начинаются с гибели и распада. Гибель-закат Элиса восходит к древнейшей рани, которая старше даже, чем состарившийся разлагающийся человеческий род, – старше, потому что более мысляще-размышляюща; более мысляще-размышляюща, потому что более тихая; более тихая, потому что сама есть успокоение.

В образе отрока Элиса мальчишество пребывает отнюдь не в противопоставлении к девичеству. Отрочество здесь – проявление тихого, молчаливого детства, которое скрывает и накапливает в себе кроткую сдвоенность пола, таящего в себе и юношу, и равно с ним «золотой девичий образ».

Элис – это не мертвец, разлагающийся в сумерках дряхления. Элис – мертвый, пребывающий в рассветной дезинфекции. Этот пришелец развертывает человеческую сущность и подводит ее к тому, что еще никак себя не явило. Это упокоенное и потому молчаливо-тихое Недоношенное в существе смертного поэт и называет нерожденным.

На своем рассвете скончавшийся пришелец и есть нерожденный. Слова «нерожденный» и «пришелец» (чужак, чужеземец) означают одно. В стихотворении «Светлая весна» (26) есть такая строчка:

А нерожденный покой и тишину свою хранит.

Он пестует и бережет (хранит) молчаливо-тихое детство в наступающем пробуждении человеческого рода. Потому-то рано умерший упокоенно *живет*. Отрешенный (ушедший, усопший) – это отнюдь не зачахше-омертвелый в смысле отпадше-сти от жизни. Напротив. Отрешенный, глядя далеко вперед, прозревает Синеву духоносной ночи. Белые веки, охраняющие его созерцание, озарены свадебными драгоценностями, предвещающими кроткую двойственность человеческого рода.

Над покойника веками белыми тихо мирт зацветает.

Строка эта – из стихотворения, в котором сказано:

То душа – чужестранка на этой Земле!

Два эти стиха находятся в непосредственном соседстве. «Покойник» – это Отрешенный, усопший, чужак, нерожденный.

Но есть еще и

... тропа Нерожденного  
к мрачным деревьям ведет,  
к временам одинокого лета.

«Урочная песнь» (101)

Этот путь, подводя Нерожденного к тому, что не впускает его как гостя, проводит его поблизости, но это уже не сквозное движение. И хотя странствие Отрешенного одиноко, все же это одиночество «ночного озера, звездного неба». Безумец плывет по этому озеру не на «черном облаке», а на золотой лодке. Что здесь означает «золотое»? На это есть ответ в стихотворении «Укромное место в лесу» (33):

Безумию кроткому часто являются златость и правда.

Тропа пришельца-чужеземца проходит сквозь «пронизанные духом годы», чьи дни неизменно укоренены в подлинности истока, который правит ими, и потому эти дни – истинны, правдивы. Год его души суммируется в правдивости.

О! Сколь правдивы, Элис, все твои дни!

Так звучит одна из строк стихотворения «Элис». Но этот возглас – лишь эхо другого, который мы уже слышали:

О, как давно скончался ты, Элис!

Та ранняя пора, когда скончался Чужеземец, таит в себе сущностную правоту Нерожденного. Эта утренняя пора – время особого рода, время «пронизанных духом лет». Одно из своих стихотворений Трагль озаглавил скромным словом «Год». Начинается оно так: «Сумеречная тишина детства». Ему противостоит более светлое, то есть более тихо-молчаливое и потому совсем иное детство той ранней поры, когда погиб Отрешенный. Это более молчаливо-тихое детство в завершающей строчке стихотворения называется Началом:

Золотое око Начала, сумеречное терпенье Конца.

Конец здесь не есть следствие и замирание-угасание начала. Этот конец, будучи концом разлагающегося человеческого рода, предшествует началу нерожденного человечества. И тем не менее это Начало в качестве ранней рани уже обогнало вышеозначенный Конец.

В этой рани прячется продолжающая утаивать себя первоначальная сущность времени. Для господствующего типа мышления это и впредь будет оставаться закрытым до тех пор, покуда будут продолжать иметь силу начавшиеся с Аристотеля представления о времени, в соответствии с которыми время – не важно, представлять ли его механически, динамически или с точки зрения атомного распада – есть размерность ко-

личественной или качественной оценки длительности, вершащейся в линейной последовательности.

Но подлинное время есть пришествие (рождение) бывшего. Которое есть не прошлое, но сосредоточенность того существа, что предшествует всякому пришествию, покуда в качестве такой сосредоточенности оно утаивает себя в чем-то более раннем. Концу и его завершению соответствует «сумеречное терпение». Оно несет тайну навстречу ее правде. Эта выносливость уносит все в гибельный распад в голубизне пронизанной сиянием ночи. Началу же соответствуют созерцания и мечты, сияющие золотом, ибо они озарены «златостью, правдой». Всё это отражается в звездном озере той Ночи, которой Элис открывает свое сердце в процессе плавания (98):

Элис, челн золотой  
сердце твоё на одиноком небе качает.

Лодка чужеземца покачивается, но – играючись, вовсе не так «боязливо» (200), как лодка тех потомков ранней рани, которые лишь следуют за Чужеземцем. Их челн еще не подошел к вершине озерного зеркала. Он тонет. Но где? В погибельности? Нет. И куда он погружается? В пустое Ничто? Ни в коем случае. Одно из последних стихотворений, «Жалоба» (200), заканчивается такими строками:

О сестра моей штормящей тоски,  
посмотри: то испуганный челн  
в звезды глубже и глубже уходит,  
в Лик безмолвной ночи.

Что скрывает это молчание ночи, смотрящее нам навстречу блеском звезд? К чему оно вместе с ночью более всего имеет отношение? К отрешенности. Последняя же не исчерпывается состоянием, свойственным бытию мертвых, где живет мальчик Элис.

Отрешенности принадлежит ранняя пора молчаливого детства, принадлежит голубая ночь, ночные тропы Чу-

жеземца, принадлежит ночной взмах крыльев души, принадлежат даже и сумерки, будучи вратами в Закат.

Отрешенность соединяет в одно целое все эти взаимопринадлежности, однако не задним числом, но так, что она сама развивается и расцветает в этом царственном воссоединении.

Сумерки, ночь, годы чужеземца-пришельца, его тропу поэт определяет в качестве «пронизанных духом» (geistliche). Отрешенность – «духоносна» (geistlich). Что подразумевается под этим словом? Значение его и пользование этим значением древни. «Духоносное» – это то, что находится в смысловых границах духа (Geist), происходит от него и следует за его сущностью. Сегодняшнее привычное словоупотребление ограничило «духоносное» его отношением к «священнослужителям», к духовному статусу жрецов или церкви, ими возглавляемых. У Тракля, по-видимому, тоже просматривается этот смысл (по крайней мере, при поверхностном чтении), если, скажем, обратиться к стихотворению «В Гельбрунне» (191), где он говорит:

О, как священо (geistlich) зазеленели  
дубы над забытыми тропами мертвых,

когда перед этим сказано о «теньях церковных владык, благородных жен», и кажется, что «тени давно усопших» зыбко колышутся над «весенним озером». Однако поэт здесь, вновь воспевая «голубой плач вечера» и наблюдая за тем, как дубы «священно зеленеют», думает при этом вовсе не о духовенстве. Он думает о той ранней поре давно Умершего, которая обещает «весну души». Ни о чем ином не поется и в более раннем стихотворении «Духоносная песнь» (20), лишь в более скрытой и еще неявно форме. Дух этой «Духоносной песни», играющей в странную неопределенность, отчетливее определяет себя словесно в последней строфе:

Там нищий возле старых стен  
Умершим кажется в молитве,  
С холма пастух – в кротчайшем ритме,  
А в роще ангел вдруг запел,

Здесь рядом, в рощице запел,  
Вблизи уснувших детских тел.

Но если поэт не вкладывает в «духоносное» смыслов, идущих от духовенства, но лишь определяет то, что имеет отношение к духу, то почему бы ему на худой конец не воспользоваться словом «духовный» (*geistig*) и не говорить о духовных сумерках, духовной ночи? Почему он избегает слова «духовный» (*geistig*)? Да потому что «духовное» используется в качестве противопоставления материально-вещественному; и, демонстрируя различие двух этих сфер, оно именуется, выражаясь платоновозападноевропейским языком, пропасть между сверхчувственным и чувственным.

Понятое таким образом духовное, преобразовавшееся между тем в рациональное, интеллектуальное и идеологическое, принадлежит (вместе со своим антиподом) мировоззрению разлагающегося человеческого рода. Однако от последнего как раз и *открещиваются* «смутные блуждания» «голубой души». Сумерки в канун Ночи, в которые уходит Чужбинно-незнакомое, имеют столь же мало оснований именоваться «духовными», сколь и тропа Чужеземца. Отрешенность – духовна, пронизана духом, порождена духом, и тем не менее она отнюдь не «духовна» в метафизическом смысле.

Но что такое дух? В своем последнем стихотворении «Гродек» Тракль говорит о «горячем пламени духа» (201). Дух – это нечто пылающее и, быть может, лишь в этом качестве – веющее. Для Тракля дух изначально не дыхание, и постигает он его не спиритуалистически, но в качестве пламени, которое возгорается, пугая, приводя в ужас, выводя из себя. Это пламя – возгоревшийся фонарь, светило. Пылание – это пребывание Вне-себя, могущее светиться и вспыхивать, но также и все пожирать, превращая в белизну пепла.

«Пламя – брат Наибледнейшего» – сказано в стихотворении «Трансформация зла» (129). Тракль созерцает «дух» (*Geist*) из той сущности, что может быть названа «духом» в исконно-первоначальном значении этого слова, ибо *gheis* означает: быть рассерженным, объатым ужасом, быть вне себя.

Так понимаемый дух обладает возможностью как кротости, *так и* разрушительности. Начало кротости ни в коем случае не ослабляет этого Вне-себя воспламеняющегося, но держит его собранно-сосредоточенным в покое дружественности. Разрушительное начало приходит из той распушенности, которая изводит себя своим собственным смятением и приводит в действие зло и коварство. Зло всегда есть зло духа (*eines Geistes*). Зло, грех и злоба – не чувственны, не материальны. В то же время их природа не вполне «духовна». Зло, грех духовны (*geistlich*) в качестве ослепленно возгорающегося мятежа того, кто приходит в ужас, кому угрожает переход в несобранность беды, а собранно-сосредоточенное цветение кротости грозит быть спаленным.

Однако где покоится сосредоточенность кроткого? Каковы его поведья? Какой дух держит их? Каким образом человеческое существо является и становится «духоносным»?

В той мере, в какой сущность духа пребывает в возгоранье, он пробивает себе дорогу, освещает ее и выходит на путь. В качестве пламени дух есть атака, «добивающаяся невозможного» (букв.: «штурмующая небо». – *Н.Б.*) и «настигающая Бога» (187). Дух гонит душу в промежуточность дороги, где она пускается в предварительное странствие. Дух перемещает ее в Чужое. «Душа на Земле – чужестранна». Дух есть то, что одаривает душой. Дух – воодушевитель. Однако душа, в свою очередь, охраняет дух, и это столь существенно, что, вероятно, дух никогда не смог бы без души пребывать духом. Она «питает» дух. Каким образом? Не иначе как пламя своей сути душа отдает в ленное владение духу. Это пламя и есть жар тоски, «кротость одинокой души» (55).

Одиночество обособляет отнюдь не в то распыление, в которое брошена каждая подлинная покинутость. Одиночество приводит душу к Единственно-особенному, оно концентрирует душу в единство и таким образом выводит ее сущность в странствие. В качестве одинокой души она есть душа странствующая. Жар ее души востребован к тому, чтобы тяжесть судьбы – и таким образом душу навстречу духу – нести в странствие.

Раскаленность тоски, духу отдай своё пламя; –

так начинается стихотворение «К Люциферу», то есть к носителю света, отбрасывающему тень зла.

Тоска души возгорается лишь там, где душа, отправляясь в странствие, входит в дальние дали своей собственной, то есть странствующей, сущности. Такое случается, когда она открывает взор навстречу лику Лазоревости (Синева) и созерцает идущий оттуда свет. Таким образом в качестве созерцающей душа является «великой душой».

О боль, ты – пламенное созерцанье  
великой души!

«Гроза» (183)

Величие души измеряется тем, насколько она способна к тому пламенному созерцанию, благодаря которому она в боли обретает себе дом. Боли свойственна некая в себе противоположная сущность.

Боль увлекает своим «пыланьем». Это увлечение, этот порыв вводит странствующую душу в движение атаки, погоны; чтобы, штурмуя небо, можно было настичь Бога. Кажется, что этот порыв хочет преодолеть то, куда он стремится; вместо того, чтобы дать ему господствовать в его потайном свеченье.

Однако последнее достигается созерцанием, которое не гасит пламенный порыв, но несколько отклоняет к податливости наблюдающего приятия. Созерцание – это возвратный рыбок в боль, благодаря которому она становится милосердной и вследствие этого сопроводительной и безутайно-господствующей.

Дух есть пламя. Распаляясь, оно светит. Свечение совершается во взоре созерцания. Такому созерцанию сопутствует появление сияния, в котором пребывает все бытийствующее. Это пламенное созерцание есть боль. Любой субъект, которому его восприятия и ощущения приносят боль, пребывает в замкнутой скрытности. Плающее созерцание определяет величие души.

Дух, созидающий «великую душу», является болью воодушевления. Но, значит, одаренная душа есть само Воскрешающе-оживляющее. Поэтому каждый, кто живет по-своему, управляем ведущей чертой своего существа – болью. Все, что живет, – болезненно.

Лишь то, что живет одушевленно, в состоянии исполнить свое сущностное предназначение. Сила этой способности дает возможность гармонии того попеременного Себя-несения, которым услушивается всё живущее. Соответственно этому соотношению пригодности, все, что живет, – пригодно, то есть хорошо. Но всякое хорошее, всякое благо – мучительно-болезненно хорошо.

Всё одушевленное, в соответствии с основной чертой великой души, не только мучительно-болезненно хорошо, но и, благодаря этому, единственно правдиво; ибо сила противоположности боли дает возможность живущему, вполне по-своему утаивающе-раскрывающему свое соприсутствие, быть правдивым, подлинным.

Последняя строфа одного из стихотворений (26) начинается так:

Как мучительно хорошо и правдиво всё, что живет!

Может показаться, что эта строка касается мучительного бегло. В действительности она возбуждает энергию сказывания всей строфы, настроенной на умолчание боли. Чтобы услышать все это, важно не пропустить и не отвергнуть тщательно расставленных знаков препинания. Строфа продолжается следующим образом:

Осторожно коснулся тебя старый камень:

Вновь звучит «осторожно», скользящее каждый раз в наиболее существенные моменты. Снова появляется «камень», который, если позволить себе подсчеты, встречается в стихах Тракля более тридцати раз. В камне скрывается боль; окаменевая, она прячется в закрытости горной породы, в явлении которой высвечивает себя исконная древность тихого жара той наи-

раннейшей рани, которая в качестве предшествующего начала приходит ко всему становящемуся, странствующему, принося ему тем не менее всегда ускользающее от него рождение его существа.

Старые камни – сама боль, покуда они естественно-природно смотрят на смертных. Двоеточие после слова «камень» в конце строки указывает на то, что здесь говорит сам камень. Сама боль обретает речь. После долгого молчания боль сообщает странникам, следующим за Чужестранцем, ни более, ни менее как о своем господстве и о своих долгах:

Воистину всегда пребуду с вами!

Странники, среди листвы прислушивающиеся к Рано-умершему, как бы возражают этому речению боли в последующей строке:

О рот, лепечущий устами ивы серебристой!

Вся строфа этого стихотворения соответствует финалу второй строфы другого стихотворения, обращенного «К одному рано почившему» (135):

Остался в саду серебрящийся образ друга,  
Из листвы и старых камней он все еще слушает нас.

Строфа, начинающаяся строчкой:

Как мучительно хорошо и правдиво все, что живет! –

является настоящим эхом началу третьей части стихотворения, которому она принадлежит:

Но сколь болезненно сияет все становящееся!

Искаженное, заторможенное, бедствующее и неизлечимое, всё то горестно-мучительное, что есть в устремленном в гибель, – в действительности является тем единственным явленно види-

мым, где скрывается подлинное: всепроникающая боль. Поэтому боль не есть ни гадкое, ни полезное. Боль – милость Реальности всему существу. Простодушие своего противоположного существа становление выстраивает из сокровенности ранней рани, настраиваясь на просветленность великой души.

Сквозь боли лепоту правдиво всё живет.  
Неслышимо касается тебя древнейший камень:  
воистину навек пребуду с вами.  
О, как лепечет ивы серебристой рот!

Строфа эта – истинная песнь боли, слетая, дабы завершить трехчастное стихотворение «Светлая весна». Добрая ясность ранней рани всякого начинающего существа сотрясается внутренней дрожью из тишины сокровенной боли.

Обычному представлению противоположная сущность боли, освободиться от которой, собственно, можно лишь посредством возвратного рывка, легко покажется абсурдной. Однако именно в таком выявлении скрывается сущностное простодушие боли, которое, пылая, уносится к самому отдаленному, в то же время удерживаясь в созерцании наиболее задушевного.

Таким образом, боль в качестве основной характеристики великой души длит свое чистое соответствие святости Синевы. Ибо последняя светит навстречу лику души, в то время как та уходит в свои собственные глубины. Святое длится, покуда бытийствует, причем уклончиво сдерживает себя, придавая созерцанию кротость.

Обретя словесное выражение, сущность боли тайные свои взаимоотношения с Синевой обнаружила в последней строфе стихотворения «Просветление» (114):

Цветок голубой  
тихо поет из пожелтевших камней.

«Цветок голубой» – это «нежный букет синих васильков» священной Ночи. Этой речью воспет исток, к которому восходит творчество Тракля. Одновременно она заключает в себе, она

несет «просветление». Поэтическая песнь – это романс, трагедия и эпос в единстве.

Это стихотворение уникально среди остальных, ибо в нем широта созерцания, глубина мысли, простота речи *светятся* сердечно-искренне и ровно неким несказанным образом.

Боль лишь тогда подлинна, когда служит пламени духа. Последнее стихотворение Тракля называется «Гродек». Превознося, его называют стихотворением о войне. Однако оно о чем-то бесконечно большем, ибо о другом. Его последние строки гласят (201):

Горячее пламя духа питает ныне могучую боль,  
нерожденных внуков.

Упомянутые здесь внуки – ни в коем случае не оставшиеся незачатыми сыновья павших сынов, восходящих к растленному человеческому роду. Если бы речь шла лишь об этом, о прекращении воспроизводства предыдущих поколений, тогда поэт мог бы лишь ликовать по поводу такого финала. Но он печалится; правда, печалится «величаво-гордой» печалью, пламенно созерцающей покой Нерожденных.

Нерожденные называются внуками, ибо они не могут быть сыновьями, то есть непосредственными потомками павшего рода. Между ними и наличным поколением живет некая иная генерация. Она – иная, ибо другого типа, соответственно своему иному сущностному происхождению из рассветной рани Нерожденного. «Могучая боль» – это всёсожигающее созерцание, заглядывающее в пока еще уклоняющуюся рань того Мертвеца, навстречу которому устремлялись, умирая, «души» тех, кто погибли юными.

Но кто же хранит эту могучую боль, если она питает жаркое пламя духа? Все, что одной породы с этим духом, принадлежит к энергии, выводящей на путь. Все, что одной породы с этим духом, зовется «духоносным» (*geistlich*), священным. Поэтому поэт «духоносно-священными» называет сумерки, ночь и годы: в первую очередь это и исключительно это. Сумерки дают возможность явиться Синеве ночи, ее воспламененью.

Ночь пылает как светящееся зеркало звездного озера. Год возгорается, поскольку он покоится на пути солнечного движения, его восходов и закатов.

Что же это за дух, побуждающий «Духоносное» к бодрствованию и к следованию за собой? Это тот самый дух, что в стихотворении «К одному рано почившему» специально назван «духом почившего в юности» (136). Это дух, уводящий в отрешенность «нищего» из «Духовной песни» (20), и тот говорит (как это видно из стихотворения «В деревне», 81), что «бедняк» пребывает «в духе одиноко умершим».

Отрешенность бытийствует в качестве чистого духа. Она есть покоящееся в своей глубине, тихо пылающее сияние Синевы, воспламеняющей тихое детство в золото Начала. Навстречу этой рани смотрит золотой лик образа Элиса. В его встречном взоре рань сохраняет ночное пламя духа отрешенности.

Так что отрешенность не есть ни состояние Рано-умершего, ни некое неопределенное место его пребывания. Отрешенность по сути своего пылания есть собственно Дух и в качестве такового она – сама сосредоточенность, забирающая сущность умерших и приводящая их назад в их тихое детство, укрывающая их и защищающая как еще не выношенную породу людей, которой предстоит создать будущий человеческий род. Эта сосредоточенность, внутренняя центрированность отрешенности бережет Нерожденное, перенося его поверх отжившего в грядущее возрождение человеческого рода, возрождение из глубин рассветной рани. В качестве духа кротости эта внутренняя сосредоточенность утишает также и духа зла, мятеж которого достигает предельного коварства тогда, когда он, прорвавшись из разлада полов, врывается в сферу сестринско-братского.

Однако сестринско-братская раздвоенность человеческого рода таится и в тихой простоте детства. В отрешенности дух зла ни уничтожается/отрицается, ни высвобождается/самоутверждается. Зло здесь преобразовывается. Чтобы такое «преобразование» выдержать, душа должна обратиться к величию своей сущности. Масштаб этого величия определяется духом отрешенности. Отрешенность – это та сосредоточенность

(собранность), благодаря которой человеческая сущность укрывается-спасается в своем тихом детстве, а само детство – в ранней рани следующего (в возвратном порядке) начала. В качестве такой собранности отрешенность обладает сущностью местности.

Но каким образом отрешенность становится местностью поэмы, – той поэмы, которую образуют стихи Георга Тракля? Да и имеет ли отрешенность вообще и по своей сути отношение к сочинению стихов? И даже если такое отношение доминирует, каким образом отрешенности удастся привлечь поэтическую речь, поэтическое сказывание к себе как к местности этой речи и распорядиться ею оттуда?

Но есть ли отрешенность – одинокое молчание тишины? Каким образом отрешенность указывает путь сказыванию и пенью? Но ведь отрешенность не является уединенностью-безысходностью отмершего. В отрешенности Чужеземец исследует свое прощание с прежним родом. Он находится на пути к некой тропе. Что это за тропа? Подчеркнуто отчетливо поэт говорит об этом в демонстративно отделенной финальной строке стихотворения «Истаяло лето» (169):

Запомни тропы его дикой синего зверя,  
блаженного пенья лет жизни его духоносных!

Тропа Чужеземца – это «блаженное пенье его духоносных лет». Это шаги Элиса звенят. Это звучащие шаги светятся в Ночи. Затихает ли в пустоте их блаженное пенье? И в каком смысле отрешен Умерший-в-ранней-рани – в смысле избранности, предназначенности, то есть отозван в ту собранность, которая собирает кротко и созывает тихо? Во второй и третьей строках стихотворения «Одному рано почившему» (135) этим нашим вопросам подан знак:

По каменной лестнице, по склону Монашьей горы  
Тот опускался. Играла улыбка, лицо голубело,  
и, странно окуклившись,  
теряясь в своем затухающем детстве,

он умер, серебряный лик свой оставив в саду;  
из гущи листвы и старых камней он слушает нас  
днем и ночью.

Душа воспевала смерть, зеленое тление плоти,  
ей вторил шелест лесов, страстные жалобы птиц.  
Вечерних колоколов не стихало голубое звучанье.

Друг прислушивается вослед Чужеземцу. И в этом вслушивании он следует за Отрешенным, сам незаметно становясь странником, пришельцем, чужеземцем. Душа друга прислушивается к Умершему. Лик друга – «умирающий» (143). Он вслушивается, в то же время воспевая смерть. Потому-то этот поющий голос есть «птичий голос подобия смерти» («Странник», 143). Он соответствует смерти Чужеземца (Пришельца), его гибельному уходу в Синеvu ночи. Но вместе со смертью Отрешенного он воспекает и «зеленое тление» того рода, от которого его «отделяет» сумеречное бродяжничество, странствие.

Петь означает благословлять, сберегая пением благословляемое. Прислушивающийся друг – один из «благословляющих пастырей» (143). Однако душа друга, «радостно внимающая сказкам седого мага», лишь тогда способна подпевать Отрешенному, когда отрешенность сама встречно звучит этому Наследнику, преемнику, когда звучит звучное блаженное пенье, когда, как об этом говорится в «Вечерней песни» (83), «сумеречный блаженный звук настаивает душу».

Когда это происходит, тогда дух Рано-почившего является в сиянии ранней рани, духоносные годы которой суть подлинное время Чужеземца и его друга. В сиянии этих лет облако, прежде бывшее черным, превращается в золотое. Оно становится похожим на «золотой челн», подобный тому, который раскачивает на одиноком небе сердце Элиса.

Последняя строфа стихотворения «Одному рано почившему» (136) звучит так:

Золото облаков, времени зыбь. В одинокую комнату  
все чаще покойного в гости зову.

Все доверчивей наша беседа, пока мы с ним рядом бредем,  
опускаясь под вязы все ниже по теченью зеленой реки.

Поражающе блаженному звуку шагов Чужеземца соответствует приглашение друга к разговору. Их сказыванье, их речи – поющее странствие вниз по реке, следование в гибельный закат ночной Синевы, оживляющей дух Рано-ушедшего. В ходе этой беседы поющий друг созерцает Отрешенного. Посредством этого созерцания он во встречном взгляде Чужеземца становится ему братом. Странствуя с Чужеземцем, брат достигает кроткого жительство в ранней-рани. В «Песни отрешенного» (177) он возглашает:

О жительство в одухотворенной Синеве ночи!

Однако ему внимающий друг поет «Песнь отрешенного» и таким образом становится ему братом, брат Чужеземца впервые благодаря этому становится братом своей сестре, чей «лунный голос звучит в священной ночи», о чем повествует финальная строка стихотворения «Священные сумерки» (137).

Отрешенность есть местность поэмы, ибо блаженный звук звеняще-свистящих шагов Чужеземца возжигает сумеречное странствие тех, кто следует за ним, до состояния услуживающегося пенья. Их странствие темно потому, что лишь последующе-преемственное странствие высветит однажды их души в Синеве. Сущность поющей души – некое особое предвидение в Синеве ночи, хранящей кроткую раннюю рань.

Голубое мгновение – что это? Лишь чуточку больше души, –

сказано в стихотворении «Детство» (104).

Так завершается существо отрешенности, которая лишь тогда становится завершено-совершенной местностью поэмы, когда, будучи средоточием тихого детства и одновременно могилой Чужеземца, собирает к себе тех, кто следует за Рано-ушедшим в гибельный закат; и вот, внимая ему, они переводят блаженное пенье его тропы в сообщительство реальной речи, превращаясь

в этом процессе в Отрешенно-усопших. Их пенье – сочинение стихов. Как это удастся? Что значит сочинять стихи?

Сочинять стихи значит: пере-сказывать; вторить изреченному блаженному пенью духа отрешенности. Сочинение стихов, прежде чем стать сказыванием в смысле выраженности-обнаруженности, длительнейше являет себя в качестве вслушивания. Отрешенность вводит вслушивание в свое блаженное пенье, дабы оно музыкально просквозило сказыванье, в коем оно обретает свою вторую жизнь. Лунная прохлада священной Синевы духоносной ночи наполняет звуком и сияньем полноту созерцанья и сказыванья. Их язык становится, таким образом, пере-сказывающим, становится поэзией. Высказанное пасет стихотворение в качестве сущностно несказанного. Это посредством вслушивания призванное пере-сказывание становится благодаря этому «более кротким», то есть более податливым по отношению к зову тропы, по которой Чужеземец идет вперед: из сумрака детства в тихую, ясную предрассветность. Потому-то вслушивающийся поэт и говорит, обращаясь к себе:

Всё смиреннее смысл постигаешь этих сумрачных лет,  
эту прохладу и осень комнат совсем одиноких;  
о, как уходят в священную даль синевы, как сияют шаги!  
«Детство» (104)

Душа, воспевающая осень и склон года, не погружена в распад. Ее кротость воспламенена пламенем духа Ранней-рани, и, следовательно, эта душа огненна:

О душа, тихо поющая песнь камыша пожелтевшего;  
огненна кротость твоя.

Так сказано в стихотворении «Сон и умопомрачение» (157). Названная здесь помраченность\* (равно как безумие или помешательство) не есть простое помрачение духа. Ночь, мрак которой окутывает со всех сторон поющего брата Чужеземца,

\* Umnachtung – букв.: оочненность, окруженность ночью.

это «духоносно-священная ночь» той смерти, которую Отрешенный умер в «золотом ознобе» ранней-рани. Всматриваясь в эту смерть, прислушивающийся друг всматривается в прохладу тихого детства. Это созерцание мало-помалу становится разрывом с давно рожденным человеческим родом, забывшим тихое детство как всегда открытое начало и никогда не пытавшимся вынашивать Нерожденное. Стихотворение «Аниф» (134), по названию замка (вблизи Зальцбурга), окруженного рвом с водой, повествует:

Рожденный виновен безмерно. О, эта боль золотого озноба,  
благоговения смерти;  
снятся душе гроздь холодных соцветий.

Но не только разрыв со старым родом стоит за этим «О!» боли. Этот разрыв умело-решительно-скрытно устремлен к тому отрешенью, которое вызывает из отрешенности. Странствие в ее Ночи – это «бесконечная мука». Однако это вовсе не бесконечная пытка. Бесконечное свободно от любого конечного ограничения и слабости. «Бесконечная мука» – это завершенная, совершенная, вошедшая в полноту своей сущности боль. Лишь в странствии по духоносной ночи, блуждание по которой всегда является разрывом с бездуховностью, впервые приходит простодушная простота бесхитростности (противоюрокости), трансформирующая боль в чистую игру. Кротость духа позвана к выслеживанию Бога, а робость духа – к штурму небес.

Стихотворение «Ночь» гласит:

Мука без края –  
погоня за Богом  
с помощью кроткого Духа,  
чьи вздохи – во тьме водопада,  
в кипенье форели.

Пламенный рывок этого штурма и выслеживания-погони не в состоянии одолеть «крутую крепость»; он не уничтожает на-

стигаемое, но позволяет возродиться в созерцании облику неба, чья чистая прохлада укрывает Бога. Поющие думы этого странствия осеняют чело вершины, пронзенной совершенной болью. Потому-то стихотворение «Ночь» (187) заканчивается такими строками:

Штурмует небеса  
окаменевшая глава.

Вполне соответствует этому финал «Сердца» (180):

Крута же крепость.  
О сердце,  
твое мерцанье по ту сторону  
в заснеженной прохладе.

Вообще, аккорд трех поздних стихотворений – «Сердце», «Гроза» и «Ночь» – столь определенно укоренен в единстве и тождестве музыки Отрешенности, что искомая местность поэмы обретает здесь свою определенность, вовсе не нуждаясь в каких-либо толкованиях звучащей музыки названных стихотворений.

Блуждание по Отрешенности, созерцание ликом Невидимого и совершенная боль составляют здесь одно целое. Тот, кто терпелив, сливается со своей добычей. Лишь он один способен на возвращение в Раннюю-рань человеческого рода, чья судьба хранит список генеалогического древа (старую книгу друзей и гостей дома), в которой поэт вписывает (под заглавием «В одну старинную генеалогическую книгу») следующую строфу:

Кротко покорствует боли Полный терпенья,  
пенья пронзенный блаженством и кротким безумьем.  
О, посмотри! Уже сумерки входят.

В этом блаженном пенье сказыванья поэт превращает светящиеся лики и пейзажи, в которых укрывается Бог, в Сияние.

Потому-то об этом лишь «нашептано после полудня», как сказывает поэт в стихотворении под одноименным названием (54):

О палитре Бога мечтает чело,  
в осязательных касаньях нежных крыльев безумья.

Сочиняющий стихи лишь тогда становится поэтом, когда идет за «Безумцем», медленно-тихо умиравшим в юности, а сейчас из своей отрешенности следующим в ритмах блаженного звука своей поступи и зовущим за собой своего Брата. Так лик друга взирает на лик Чужеземца. Сияние этого «мгновения» побуждает слушающего к сказыванию. В подвижном сиянии, излучаемом местностью поэмы, закипает волна, подвигающая поэтическое сказывание, поэтическую речь к ее собственному языку.

Следовательно, каков язык поэзии Тракля? Он изъясняет себя в той мере, в какой соответствует пути, на который выводит в своем движении Чужеземец. Тропа, которую он избрал, ведет прочь от старого выродившегося рода. Он движется к Закату в открыто-сохранную рань нерожденного рода. Язык поэтической речи, местность которой – в отрешенности, соответствует возвращению нерожденного человеческого рода к тихому началу его кроткой сущности.

Язык этой поэзии глаголет из переходного состояния. Его тропа – в переходе от заката обреченного-деградирующего к закату в сумеречной Синеве святости. Язык поэтического произведения глаголет из этой переправы посредством ночного озера духоносной ночи. Эта речь поет песнь отрешенного возвращения домой, движущегося из поздней поры тленья и оставившегося в ранней рани смиренного, еще никогда не бывшего Начала. В этой речи изрекается сама пребываемость в пути, в сиянии которой является озаренно-поющее блаженнозвучие духоносных лет отрешенного Чужеземца. «Песнь отрешенного», говоря словами стихотворения «Откровение и гибель» (194), воспекает «красоту возвращающегося на родину рода».

Поскольку речь этого стихотворения исходит из пребываемости в пути Отрешенного, постольку она постоянно глаголет также и из того, от чего отрекается, прощаясь, а также из того, на что она себя в этом отречении обрекает. Язык поэтического произведения сущностно многозначен, и притом своим собственным оригинальным образом. Мы ничего не услышим в поэтическом сказывании, если обнаружим в стихотворении лишь некий затупившийся смысл одного-единственного однозначного предположения.

Сумерки и ночь, гибель и смерть, безумие и дикий зверь, пруд и камень, птичий полет и лодка, пришелец и брат, душа и Бог, равно как цветовые обозначения: голубой и зеленый, белый и черный, красный и серебристый, золотой и темно-сумглый, – звучат многократно, вновь и вновь.

«Зеленый» – тленно-тлеющий и расцветающий, «белый» – бледный и чистый, «черный» – мрачно-замкнутый и сумеречно-укрытый, «красный» – пурпурово-плотский и радужно-нежный. «Серебриста» – бледность смерти, но и сверкание звезд – «серебристо». «Золотой» – блеск истины и «чудовищный хохот золота» (133). Отмеченная здесь многозначность пока что двузначна. Однако эта двузначность, эта двойственность сама в свою очередь в качестве целого восходит к одной из сторон того, чья другая сторона определяема душевнейшей местностью стихотворения.

Поэтическое произведение говорит из глубины двойственной двойственности. И все же эта неоднозначность поэтического высказывания не растекается в неопределенной двусмысленности. Многозначный тон поэзии Тракля имеет своим истоком концентрацию, то есть ту гармонию, что, взятая сама по себе, всегда остается несказанной. Многозначность этого поэтического сказывания – отнюдь не неточность небрежности, но как раз строгость той бережности, с какой она отправляется участвовать в добросовестной точности «праведного созерцания», всецело подчиняясь ему.

Эту в самой себе абсолютно надежную неоднозначность сказывания, свойственную поэтическим произведениям Тракля, бывает довольно трудно отграничить от языка тех поэтов,

чья многозначность проистекает из неопределенности и неуверенности их поэтического блуждания на ощупь, – на ощупь, ибо у них отсутствует собственная поэма и ее местность. Уникальная строгость сущностно многозначного языка Тракля в некоем высшем смысле столь недвусмысленно однозначна, что бесконечно превосходит даже и всякую техническую точность предельно научных однозначных понятий.

В своеобразно многозначной речи, обусловленной местностью поэзии Тракля, нередко звучат слова, принадлежащие к миру библейских и церковных представлений. Переход от ветхого рода к роду нерожденному ведет через эту область и, соответственно, через ее язык. На христианском ли языке говорит поэзия Тракля, в какой мере и в каком именно смысле, каким образом поэт был «христианином», что в этом случае, да и вообще, можно подразумевать под «христианским», «христианским миром», «христианством» – всё это весьма существенные вопросы. Однако их истолкование провисает в пустоте, покуда со всей обстоятельностью не определена местность поэмы, поэтического строя речи. Сверх того, истолкование этих вопросов потребовало бы размышлений, для которых не хватило бы понятий ни метафизических, ни, соответственно, церковной теологии.

Помочь составить мнение о «христианскости» поэзии Тракля могли бы прежде всего два его последних стихотворения – «Жалоба» и «Гродек». Уместно спросить: почему здесь, в крайней бедственности своего последнего сказывания, поэт, если он действительно убежденный христианин, взывает не к Богу и не к Христу? Почему вместо этих имен он называет «нерешительную тень сестры», а затем ее же в качестве «приветствующей»? Почему песнь заканчивается не обнадеживающей перспективой христианского спасения, а словами о «нерожденных внуках»? Почему сестра является и в другом из последних стихотворений – «Жалобе» (200)? Почему вечность называется здесь «ледяной волной»? Разве это по-христиански? Это не называет даже и христианским отчаянием.

Но о чем же поет эта «Жалоба»? Разве в этом «Сестра... Взгляни...» не звучит сердечное простодушие того, кто, несмо-

тря на тотальную угрозу полного уничтожения сакральности, все же остается странствовать навстречу «золотому человеческому лику»?

Строгая гармония многоголосой речи, из которой глаголет (можно бы сказать, что одновременно и молчит) поэзия Тракля, соответствует Отрешенности как местности, топосу поэмы. По-настоящему наблюдать за этой местностью – уже достаточный материал для размышлений. И едва ли мы осмелимся в завершении вопрошать о мествовании самого этого топоса.

### III

Последнее указание на отрешенность как местность поэзии мы получили, сделав первый шаг в комментировании предпоследней строфы стихотворения «Душа осени» (124). В ней говорится о странниках, следующих тропею Чужеземца (Пришельца) сквозь духоносную (священную) ночь, ибо они «живут в ее одушевленной Синеве».

Рыбы, птицы прочь скользят.  
Скоро синь души пробудим –  
Тех, любимых, позабудем.

Свободную область, обещающую проживание и предоставляющую его, наш язык называет «страной». Переход в страну Чужеземца (Пришельца) происходит в духоносных сумерках вечера. Потому-то в последней строке строфы и говорится:

Образы вспуржит Закат.\*

Страна, в которую уходит Почивший-в-юности, – это страна такого вечера, такого заката. Мествование местности, концентрируемой, собираемой в стихотворении Тракля, – есть скрытая сущность отрешенности и называется она «Вечерней стра-

\* Другой вариант перевода: «Вечер кружит лик и смысл».

ной» («Западом»). Эта западная страна, этот Запад старше (то есть представлен раньше и потому более многообещающ), нежели платоново-христианское и даже вообще европейское. Ибо отрешенность – это «начало» восходящего Мирового года, а не гибельная пучина.

Укрытая в отрешенности Вечерняя страна (Запад) не гибнет, но остается, продолжая ожидать своих жителей в качестве страны заката-захода в духоносную Ночь. Эта страна захода есть переход к началу скрытой в ней Утренней рани.

Так можно ли все еще, если задуматься, говорить о случайности, обнаружив, что два стихотворения Тракля названы *Вечерней страной*? Одно из них прямо так и называется – «Вечерняя страна» («Запад», 177). Название второго – «Западная песнь» (139). Поется в ней о том же, что и в «Песне отрешенного». Песнь начинается с изумленно-преклоненного возгласа:

О души ночной крылатый взмах:

Стих заканчивается двоеточием, которое включает в себя всё за ним следующее вплоть до перехода из заката в рассвет. В этом новом месте стихотворения перед двумя заключительными строчками стоит второе двоеточие, за которым следует простое слово: «*Ein Geschlecht*»\*. «*Ein*» (некий, один, единый) – подчеркнуто. В стихотворениях Тракля, насколько я заметил, это единственное слово, помеченное разрядкой. Подчеркнутое «*Ein Geschlecht*» скрывает ту основную мелодию, посредством которой творчество этого поэта умалчивает тайну. Единство этого «единого рода-поколения-пола» порождает породу людей, которая благодаря отрешенности и господствующей в ней молчаливо-чуткой тишине, благодаря «лесным преданьям», благодаря «мере и закону», двигаясь по «лунной тропе отрешенности», простодушно единит раздор полов в кроткую двусоставность.

«*Ein*» в сочетании «*Ein Geschlecht*» вовсе не означает «один» вместо «двух». Не означает он также некой монотон-

\* Многозначное слово. Основные значения: род (человеческий); поколение; род, семья; пол (мужской, женский).

ности пресного равенства-тождества. Под словом «*Ein Geschlecht*» здесь вообще не подразумевается никакой биологический состав преступления: ни «однополовость», ни «гомосексуальность». В подчеркнутости «единого пола-рода» скрывается то единящее единство, что приходит из концентрированной Синевы духоносной Ночи. Слово это звучит в песне, воспевающей Вечернюю страну. Следовательно, слово «*Geschlecht*» обладает здесь своим полным, уже называвшимся прежде, комбинированно-сложным значением. Во-первых, оно подразумевает исторический человеческий род, человечество в противоположность к остальному живому (растениям и животным). Далее словом «*Geschlecht*» называют поколения, роды, кланы, семьи этого человеческого рода. Кроме того и одновременно с этим слово «*Geschlecht*» всегда подразумевает половую двойственность.

Порода людей, претворяющая эту двойственность в наивное простодушное «единого пола» и таким образом возвращающая кланы человеческого рода и вместе с этим саму себя в кротость тихого детства, победит, если сумеет дать душе выйти на путь к «голубой весне». Именно ее воспевают душа, когда молчит о ней. Стихотворение «В сумерках» (151) начинается такой строкой:

В молчании душа о голубой весне.

Глагол «молчать» (*schweigen*) использован здесь в транзитивном значении (*es schweigt*). Стихотворение Тракля воспевает страну Вечера (Запада), будучи единственным обращением поэта к событию истинной породы людей, чья речь трансформирует пламя духа в кротость. В «Песне о Каспаре Хаузере» (115) говорится:

То Бог воззвал в его сердце нежное пламя  
воспеть человека.

Это «воззвал» (*sprach*) употреблено здесь в том же самом транзитивном значении, как и только что названное «молчит»

(schweigt), или «кровоточит» (blutet) в стихотворении «Мальчику Элису» (97), или «журчит» (gauscht) в последней строке стихотворения «У Монашьей горы» (113).

Божья речь есть обращение-утешение, указующее человеку его молчаливо-тихую сущность и посредством этого призыва-совета зовущее его к тому соответствию-отклику, благодаря которому он из своего гибельного заката воскреснет в Утренней рани. «Вечерняя страна» (Запад) таит в себе восход Утренней рани «Единого рода-пола».

Сколь близоруко думать, будто певец «Песни Вечерней страны» – поэт гибели и распада! Сколь половинчат и туп наш слух, когда другое стихотворение Тракля – «Вечерняя страна» (171) – мы сплошь и рядом цитируем лишь из третьей, последней, его части, а среднюю часть этого триптиха вместе с подготовительной первой частью упорно пропускаем мимо ушей! В стихотворении «Вечерняя страна» вновь появляется фигура Элиса, в то время как Гелиан и грезящий Себастьян в позднейших стихах так и не названы ни разу. Звучат шаги Чужеземца. Их строй соответствует «тихому духу» древнейших легенд леса. В средней части этого стихотворения уже преодолен финал, где названы «большие города, каменно взгромоздившиеся в долинах». У них уже своя собственная судьба. И она существенно другая, нежели та, о которой говорится «на зеленом холме», где «шумит весенняя гроза», на холме, обладающем «истинным масштабом»; этот холм назван еще «вечерним (закатным) холмом» (150). Говорят о «глубиннейшей внеисторичности» Тракля. Что в этом случае понимают под «историей»? Если представление о прошлом, тогда Тракль действительно внеисторичен. Его поэзия не нуждалась в исторических «предметах». Почему так? Потому что его поэтическое творчество в высочайшем смысле исторично. Его поэзия воспекает судьбу той породы людей, которая забрасывает человеческий род в предстоящую ему его сущность, то есть спасает его.

Поэзия Тракля поет песнь той души, которая, будучи «на Земле чужестранкой», в своих странствиях впервые обретает Землю в качестве тихой родины возвращающегося домой человеческого рода.

Мечтательная романтика в стороне от технико-хозяйственного мира современного омассовленного бытия? Или же – ясное прозревающее знание «Безумца», видящего и постигающего Иное, совсем не то, что видят и постигают репортеры актуального, истощающие себя историей современности, просчитанное будущее которой есть не более чем продление актуального, будущее, остающееся вне действия сил той судьбы, что является человеку лишь с началом действия его сущности?

Поэт видит, что душа, «некая чужестранность» посланы на тропу, которая ведет не в распад-гибель, но совсем напротив – в Закат, смиренно покоряющийся тому могучему умиранию, которым пред-умирает Почивший-в-юности. Вслед ему умирает Брат – в качестве Поющего. Друг, умирая и следуя за чужеземцем, ночует в духоносной Ночи года отрешенности. Его пение – «Песня пойманного дрозда». Так поэт назвал стихотворение, посвященное Л. фон Фиккеру. Дрозд – птица, позвавшая Элиса в Закат. Пойманный дрозд – птичий голос Того, кто подобен мертвым. Он пойман в одиночество золотых шагов, соответствующих плаванью того золотого челна, на котором сердце Элиса пересекает звездное озеро голубой Ночи, показывая тем самым душе дорогу к ее сущности.

То душа, но какая ж она чужестранка на этой Земле!

Душа движется в страну Вечера (Запада), управляемую духом отрешенности и, соответственно этому, являющуюся «духоносной».

Любые формулы, заданные выражения – опасны. Они увядят сказываемое в несущественные формальности скороспелых мнений, не позволяя размышлению свершиться. Однако они могут быть и полезны, будучи толчком или предлогом для кропотливого раздумья. Приняв эту оговорку, мы могли бы сформулировать следующее:

Истолкование творчества Георга Тракля, поиск местности его поэзии являют нам его в качестве поэта еще куда-то скрытой Вечерней страны.

Это душа, чужестранка она на Земле.

Эта строка из стихотворения «Весна души» (149 и сл.). А стих, предшествующий тем последним строкам, куда входит эта фраза, гласит:

Безмерная мощь умиранья и пламя, поющее в сердце.

Далее идет восхождение песни в чистое эхо блаженного пенья тех духоносных лет, которые провел в странствиях Чужеземец (Пришелец), вослед которым идет Брат (монах), начинающий жить в Стране Вечера:

В водах вечерних тают рыб прекрасные игры.  
Час щемящей печали; молчаливый взор солнца;  
вот она, душенька наша: на Земле чужестранка.  
Синева дышит духом, грезит над поваленным лесом;  
долго звучит над деревней колокол; отпеванье;  
мирт тихонько расцвёл над покойника белыми веками.

Медленно воды журчат, по течению дня ускользя.  
В сумраке чуть зеленеют заросли возле реки,  
в розовом ветре – радость. Нежное пенье монаха  
на Холме предзакатном.

НИКОЛАЙ БОЛДЫРЕВ-СЕВЕРСКИЙ

ПИРАМИДА СОЗНАНИЯ

Помню вечер у камина с первооткрывателем уральского Аркаима Геннадием Здановичем: наша уютная маленькая компания все ближе подбиралась к раскопам темы невозможности познать другую цивилизацию, оторванную от нас не столько несколькими тысячелетиями, сколько языком, нам неведомым. Как понять иную сеть сознания, иной ритм в коме, в психе и, соответственно, в вещах, иное соотношение светимостей, то есть иное соположение видимого и невидимого, рельефного и теневого с помощью нашего сегодняшнего описания, пронизанного теми клише, с которыми мы наивно идентифицируем не только себя, но и все окружающие нас вещи? Забрасывая свои охотничьи арканы в прошлое, мы вытягиваем дичь, состоящую из наших собственных измышлений, мы *фантазируем* на тему, но не познаем неизвестное. Тем более что неизвестное на самом деле – в нас самих...

Поэзия и есть порыв в эту сторону, в сиюминутность *существования*, в родниковую сверхрациональность истины-естины, в ужасающую многомерность того потока, в котором мы неумолимо трансформируемся. Поэзия ищет тропинок внутри самой себя, где «бегство в другое» и создает динамику поэтического «вольномудства»: внутри нас есть цивилизации, нам, нашему языковому сознанию, неведомые. Здесь начинается отрезвление и одновременно поэзия, то есть иная форма опьяненности/опьянения. В этой отрезвляющей опьяненности прорастала поэзия Тракля. На что опирался дух этого залётного в богемно-беспутный двадцатый век существа, пролетавшего мимо планеты? На интуицию собственной маленькой библии, которую ему следовало написать. Каждое ангельское существо имеет при себе невидимую книжицу, в которой дан эскиз подлинников вещей, тени которых мы созерцаем на земле. Это своего рода карта настоящих координат земного мира, расшифровка вещей и сутей, данных нам обычно в заколдованном облике. Потерявши эту книжицу в пути, Тракль восстанавливал ее черты с нежной неторопливостью уже умершего. Иномирье, которое он интуитивно постигает, есть подлинное измерение земного.

Библия есть, конечно, фрагменты записей разговора божественного вестника (Хозяина-невидимого-измерения) с человеком, а затем и человека с этим Вестником, то есть с тем, кто в обычном смысле Невидим. С другой стороны, Библия есть созерцание человеком того внутреннего своего пространства, которое не умещается в рамках чисто материального земного сюжета, охватываемого обычной литературой. То, что для литературы эстетика, то есть посюсторонняя обольстительность пластики, то для Библии этика: опыт причастности к потустороннему. Как тонко заметил русский поэт, в Библии «тело – не осанка, а боль, не жест, а трепет, не объемная пластика мускулов, а уязвляемые “потаенности недр”, это не созерцаемое извне, а восчувствованное изнутри тело». Сказано словно бы о Тракле, недоступном для энергий овнешняющих и овнешненных. Сакральное пространство он очерчивал в записной книжке тонкими ломкими линиями. Это грезящее свойство духа воссоединяло его с незапамятностью времен совсем иных. Но это же знание, а точнее восстановление знания *подлинной карты* превращало его бранные (в плену горчаще-влекущей смерти) прогулки по земным путям в волхвующее чудесование, где простое прикосновение к древесному стволу или к витой ограде возле старого особняка становилось умопомрачительным воссоединением с предками, еще ничуть не растленными. Мистериальное чувство осеняет существо, чье странствие в неведомости ближайшего.

Есть и еще одна ассоциация: с библейским существом из датского топоса, существу этому принадлежат светящиеся признания в дневнике: «Я служу Богу, но без властных полномочий. Моя задача – расчистить место, чтобы Бог на него сошел. (Моя задача – не *командуя* очистить место, но *страдая* очистить место). Так что легко видеть, почему я в совершенно буквальном смысле должен быть одиноким человеком, равным образом – держать себя в слабости и хрупкости...» Тракл не пользовался средствами столь прямого пафоса, будучи человеком скромнейшим, однако в словах датского Паскаля заключена весьма точная расшифровка *слабости* и *хрупкости* и Георга тоже как инструмента для совершенно исключительной задачи,

поставленной им изнутри себя перед своей тленностью. Случай здесь ничего не решает. Здесь действует замысел и промысел.

Так что «тайна другой цивилизации», которую мы внутри себя носим, конечно же, не есть материальный Аркаим. Карта Аркаима пяти тысячелетней давности – ничто перед бездонно-летней картой нашей внутренней страны, легкий абрис которой дает Тракл, хрупко прикасаясь к боли, которая и есть «глубокое мгновенье души».

## 2

Язык встает перед нами как сеть, которую поэт захватывает окраину речи, каждый раз пытаясь чуть-чуть отодвинуть ее в сторону ночи и безмолвия. Тракл это делает кротко и неназойливо, малым количеством повторяющихся слов. Он ничуть не похож на поэтов эпохи модерна (и постмодерна), сгущающих речь в агрессивно-парадоксалистском столкновении экзотических фонем до смыслового мрака, в элане захвата всех акваторий словаря, в игре аллюзий, тонко апеллирующих к тщеславию скриптора. Он прикасается к сумраку жизни и ее чувства, к непроявленной их сути вновь и вновь благоговейным повторяющимся штрихом. Едва ли это похоже на то, как кто-то отчаянно смелый танцует на самой кромке речи при свете костра, когда очи Ночи, ее неуязвимых зверей-хищников хлещут в упор.

Разумеется, герой Тракла понимает, что *есть сознание, лежащее в глубине всех сознаний*. Именно к этой уже за пределами слов *реальности* устремляется тайная энергия его поэтической речи. Это ее тихий экстаз наподобие ветра, дующего с невидимого Востока. Из этой бессмертной (быть может) глубины будто бы личного сознания и идет вся сила влекущего нас с рождения света. И чем более стихи уходят словно бы в невнятицу и в сумрак при сохранении этого сквозного щемяще-гармонического звука, тем более они прикасаются к прародине Пришельца.

Что удастся поймать в словесную сеть? Лишь некоторые осколки, случайные блески донного света. Блески того не-

выразимого сознания, к которому с разных сторон подступают столь разные поэты как Рильке и Трагль; сумрачно-солнечная мгла последнего контрастна к экстатически-вдумчивой прозрачности первого. Но сближает их ситуация внутренней точки обзора Сущего: мощнейшая изумленность. Это зверо-птицы, томимые невероятием земного опыта, постигаемого ими из уникальности космического пришельчества.

3

Сумеречно-прозрачная, «новозаветно»-аскетичная поэзия Трагля ясно дает понять, что ее природа сверхвербальна. Так ведь даже и апокрифические Евангелия не есть самоценная словесная музыка. Чара здесь другого, нежели чему мы выучены, истока. Нет здесь и той музыки, что в мантре «аум». Слова есть не более чем ветошь, если они исходят из эстетического клототания человека как самостного биоробота. Они шелушатся и опадают, отслаиваются как старая кожа. И тогда входят в моду театральные румяна, татуировки бесчисленных мастей и маски отнюдь не театра Но. Поэзия же восходит к некоему архетипу себя. А он есть не что иное, как чаемо-изначальная реальность, притом настолько мистериального (чуждого нам сегодня) свойства, что определить ее традиционным «магическим кристаллом» или сферой, транслирующей Неизмеримое, было бы наиболее приемлемо-естественным, ибо постижимо-непостижимым. Интуитивный поэт, чующий стихотворение частью природы, конечно, возводит себя к волхвованию в направлении к этому исходно-бытийному (архетипическому?) Стихотворению, пульсирующему внутри нас и одновременно вовне. Тоска по воссоединению с ним движет его устами. Тоска возможности и невозможности этого воссоединения. Но поскольку этот импульс принят (как в случае Трагля или Рильке) и взято направление, постольку поэт схватывает исходно-архаическое триединство энергий, а не только низшую их фазу – эстетическую красоту, как это делает массовое искусство и мышление, собственно, даже и не догадывающееся, что красота (как и ужас) многоуровнева.

Современный менеджер от культуры, говоря об «удовольствии от текста» как главным ценностном критерии эпохи,<sup>\*</sup> и поэзию, как и всякое искусство, рассматривает в качестве вкушаемого, притом в гастрономически-гедонистическом измерении. *Вкусно* здесь контролируется баллами удовольствия, где не только звук и ритм (фонетика), эмоционально-волевые и аллюзивно-ассоциативные вибрации дополняют щекотания центров интеллектуальной комбинаторики, смежной остроумию, но имеет вес и почти сверхценность тщеславие гурмана. Всё это создает коллапс чисто эстетического свойства, в который нас, современного плоскостного сапиенса, вогнала чувственно-природная стадия жизни, в которой мы намертво прописаны. Диктатура материальной эстетики (и эстетизма) фактически здесь абсолютна.

Но поэты уровня Трагля и Рильке еще держали руку на пульсе исходного триединства: эстетической, этической и сокровенной красоты, – и наименее значимой в этой «пирамиде сознания» была, конечно, «гастрономически-телесная» ее часть. Здесь объемы изначальности имеют абсолютную значимость. Сокровенное превышает все воображаемо-мыслимые пределы; прикосновения к этой исходно-основной красоте в поэзии Трагля подобны догадкам о галлюциногенной природе бытия. Потому-то звери, птицы и пришельцы в его стихах есть на самом деле совсем не то, что точно фиксируемо. Это смутные вибрации Существ, для нас непостижимых и превышающих возможности наших интеллектуально-эстетических восприятий. Существа эти входят с нами в контакт лишь на пересечении энергий, где душевное и сверхдушевное обладает своими, уходящими в бездну, полномочиями прекрасного, суть которого эстетикой («эстетическим вкусом») быть постигнута никак не может.\*\*

Эти прикосновения к объемному кристаллу, к великому трехграннику (шести-, девяти- и т. д.) и создают мерцатель-

\* Соответственно и о городе как «машине для удовольствий»; само собой, и человек здесь, *ближний* – есть не что иное, как ближайший и самозаконный объект удовольствий.

\*\* Что постигалось, например, в элевсинских и иных мистериях.

ность той целомудренно-трагической музыки, которая и есть исходное вещество нас самих. В музыкальных пьесах Тракля, бесконечно далеких от гастрономии и гедонистических свинств, равно розариев, звучит момент прикосновения изначального к изначальному, где стирается и истаявает собственно телесное, взятое в его абсолютной тленности. Остается та сверхреальность, что галлюцинирует прозрачным веществом нежнейших духовных анклавов, в которые мы однажды вернемся из нашего нынешнего «зеленого тления».

4

В измерении *души*, как ее понимает Тракль (*душа на земле чужестранка*), человек еще живой и человек уже умерший могут общаться, вести беседы, а *нерожденный* имеет опыт, ценный для того, кто рожден. (Вспомним, что по некоторым свидетельствам Тракль как-то обронил: «Я родился только наполовину». Что он этим хотел сказать? Не то ли, что «половина его» осталась там, за чертой рождения? И эта половина – чистая сущность души? И что таким образом некая сила мощно утягивает его назад, за горизонт, и он не в состоянии ей противиться? Что по самой своей сути он слишком слабо укоренен в играх земного муравейника и хотел бы назад, в лоно, в мир, где был совершенен?) Легко понять, почему такая доминанта внимания в поэзии Тракля к тем, «кто рано ушел». Душа у этих отроков присутствует в своем обнажении, она еще метафизична, то есть не укрыта в функциональных чашах, еще не завалена хламом «познаний» и кошмаром «опыта». Она еще поддается простому созерцанию, и потому с ней легко вести *невербальный* разговор. Душа умершего в юности останется той же, проживи этот умерший еще пятьдесят лет. Другое дело, что она могла бы быть забыта им самим, не говоря об окружающих, считающих себя живыми, рожденными, существующими. Потому-то всякий, у кого доминанта на медитативных отношениях с душой, есть «рано ушедший». Знак некой человеческой общности. В то же время субъективно Тракль не мог не чувствовать себя настолько радикально «отрешенным», что вопрос о скоро-

сти его «телесного истления» на Земле не был для него загадочным или смутным.

Разумеется, люди не знают, что им делать с душой. Либо забыть, либо определить ее по какому-либо конфессиональному ведомству: и при месте будет, и пользу будет приносить, и под ногами не будет, жалобно плача, вертеться. Обычно человек, по какой-либо причине вдруг столкнувшийся с душой, испытывает приступ устрашающей беспредметной тоски и паники обесмысливания всего. Поэт же, проходя через эти стадии, отправляется в странствие. Что с ним произойдет при этом – неизвестно. Однако для него ясно одно: по какой бы тропе он ни отправился, она не приведет его к «дому». Странник не ждет награды за путь.

Странно ли, что Тракль включил нюрнбергского «маугли» Каспара Хаузера в круг своего поэтического внимания? Этот выброшенный из социальной «паутины» юноша под пером Тракля предстает некой душой, слиянной с растительно-животным миром в его очищенности от «целей». Лексический контекст, благословляющий Каспара: куст, пурпурный холм, черный дрозд, зверь, звезда, Бог. В письме Э. Бушбеку весной 1912 года, отчаянно сопротивляясь перспективе стать на многие годы чиновником, к тому же в немилом ему Инсбруке, приходя в ужас от этой перспективы, Тракль восклицает: «К чему эти муки? В конце концов, я навсегда останусь бедным Каспаром Хаузером». То есть Отрешенным.

Впрочем, разве это не извечное предназначение поэта: транслировать «тонкие токи», быть посредником между «духом» и человеческими коллективами? Но само это поэтическое «делание», будучи вполне автономной и вполне специфической религиозной деятельностью, определенной формой молитвенности, безусловно требует Отрешенности. Изначальная религиозная функция поэта-танцора на «заре времен» – очевидна, даже если не вспоминать о Гомере и царе Давиде. Что же удивительного, если и нынешняя поэзия иногда еще вспоминает о своих корнях? Что удивительного, если иногда поэт в томительном недоумении догадывается об изначальной иератичности своего странного, почти уже никому не нужного занятия,

все более вырождающегося и подстраивающегося под «эстетические вкусы» толпы? Тракль и был как раз одним из немногих поэтов, догадывающихся об этом изначальном поэтическом жречестве, потому-то был столь радикально-«потусторонним» и стиль его жизни, и тон его вопрошаний, потому-то предчувствие духа как вещественной реальности является невидимой осяю его поэтических медитаций.

5

Тракль был религиозным человеком по призванию, а не по конфессии, и вследствие этого ему была присуща та тотальная страстность, которая традиционно воспринимается окружающими людьми как «ненормальность», как «психопатия». Очень характерен подход и тон Отто Базиля: «Не вызывает сомнений, что Тракль был религиозным мечтателем и фантастом. Но одновременно он был также наркоманом, психопатом и алкоголиком». Как замечательно биограф сводит всё на физиологию: наркомания и алкоголизм, несомненно, дела вещественно-плотские, «на земле стоящие», далее из них естественно-биологически следует «психопатия», а из нее, натуральнейше, «мечтательство и фантастика», ну пусть и с религиозной подоплекой; однако же ясно как день, что есть они всего лишь следствие пьянства и наркомании. Ну и что же в таком случае остается от homo religiosus? И что остается от метафизики? И что значат все эти стихи? Выходит, что вполне реален лишь наркоман-психопат, религиозные же внутренние странствия, поэтическая метафизика – ирреальны, мечтательно-фантастичны: красивые вербальные пузыри. «Писал красивые стихи». Что ж, обыватель может спать спокойно. Интересно, кстати, не был ли Франциск Ассизский или, скажем, Эмануэль Сведенборг «психопатом и религиозным мечтателем»?

На самом деле, конечно, религиозная жизнь личности, тем более религиозно одаренной, есть та целостная реальность, от которой невозможно укрыться ни в пьянстве, ни в наркомании. Говорить о бытовой патологии в случае Тракля недопустимая наивность, ибо эта патология входила в само существо его пер-

сональной духовной судьбы, и эта судьба влекла его к величайшему преодолению в себе чего-то, что можно бы назвать «грехами рода». «Жало в плоть» у Тракля оказалось странным образом интенсифицировано до предела, и на этом пределе, на звенящей ноте этого предела возникла райская музыка его песнопений, заглушавшая музыку ада. Сущность этого невероятного преодоления, этой «трансформации зла» в чистую музыку «трансцендентальных» предчувствий (предчувствий дальнего прошлого и предчувствий далекого будущего – что нам показал М. Хайдеггер) еще не раскрыта, еще даже не уловлена. Тем не менее «отклонения» Тракля от стереотипа «правильного поведения» были не явлениями быта или борьбой с «социальной рутинной моралью», но чем-то более неуловимым и трагически-парадоксальным, быть может, своего рода жертвоприношением на пути к «остановке мира», жертвоприношением во имя прорыва к тому «блаженному звуку», о котором он так часто писал в стихах.

Любят ссылаться на письмо 21-летнего Георга к сестре Гермине, якобы свидетельствующее о клекотаниях похоти в натуре поэта и о конвульсивном бегстве вследствие этого в «мир поэзии». Однако вчитаемся в это письмо. «...Когда я сюда прибыл, мне почудилось, что я впервые вижу жизнь так ясно, без всех субъективных ее истолкований, голой, беспредпосылочной, как будто все голоса, которыми говорит действительность, я слышу в их жестокости и мучительности. На мгновение я почувствовал то давление, которое обычно испытывают люди, почувствовав гнет судьбы.

Мне кажется, это было бы ужасно – постоянно жить в полноте ощущения тех животных инстинктов, что катят жизнь сквозь время. Я ощущал в себе ужасающие возможности, чувствовал их запах, прикосновения, слышал завывания демонов в крови, тысячу чертей с шипами, от которых безумеет плоть. Какой жуткий кошмар!

Прочь! Сегодня это видение действительности вновь погрузилось в Ничто, далеко от меня вещи, предметы, еще дальше – их голоса, и я, став всецело одушевленным ухом, вновь вслушиваюсь в те мелодии, что живут во мне, а мои окрылен-

ные глаза вновь сновидят образы, которые прекраснее, чем любая действительность! Мой целостный, прекрасный мир, полный бесконечной гармонии...»

Как видим, здесь ясно очерчено противостояние двух миров: мира безумной плоти и мира той плоти, чье ухо «одушевлено». И говорит Тракль не о реальности погруженности в мир «животных страстей», но о тех возможностях, которые он в себе чувствует, о тех возможностях, которыми переполнена обычная реальность обычных людей, и о том, что он содрогается перед этими возможностями, ибо они – ужасающи. Надо иметь способность чувствовать тот потенциальный ад, который есть в нас, жителях «действительности», не обманывая себя, и надо иметь способность с невероятной мощью устремляться прочь от него. И то, и другое – уникально, и говорит не о грубости натуры, но как раз о ее сверхчувствительности. Сама «возможность», потенциально дремлющая, либо в упор не замечаемая, либо эфемерно «нереальная» для обычного человека, для Тракля являлась могучей страшной реальностью, которую следовало преодолевать на путях «духовного делания». В этом пространстве «между мирами» Тракль был безмерно одинок.

## 6

Поэт не мог укрыться в конфессии, поскольку его религиозное чувство жизни сакрализовало весь видимый и невидимый космос. С другой же стороны, он мощно видел деградацию человеческого сознания, втянутого в многотысячелетнюю мифологию «падшего рода» и бесчисленных внутренних дихотомий, раздвоенностей, внутренних конфликтов и, следовательно, войн. Реальные войны с пушками вырастают из внутренних конфликтов, сидящих в персональных, «личностных» сознаниях и психиках; внешние войны порождаемы той внутренней войной, которая перманентно полыхает в мозгу «человеческого рода». И Тракль, как любой честный искатель, не мог не обратиться именно к себе как к ближайшему для наблюдения представителю человечества. И предъявить счет именно себе. Такова логика «оговоров». Только очень наивный человек будет

считать критерием невинности и невиновности субъективное самоощущение. И напротив: критерием виновности – самообвинения и покаянья. В реальности всё бывает как раз наоборот: подавляющее большинство распутных и греховных людей искренне не самоощущают себя таковыми. Они блестяще оправдывают себя. Психика большинства (то есть вполне заурядных) людей строится из системы непрерывных самообманов, бессознательная цель которых – во что бы то ни стало сохранить высокую личностную самооценку, самоуважение, чувство своей социальной значительности, значимости и полноценности. Жизнь показывает, что «грешными», «распутными», «недостойными», глубоко страдающими по поводу своих пороков и несовершенств самоощущают себя чаще всего именно чистые, по всем сравнительным меркам целомудренные и возвышенные натуры. Примеров предостаточно. Ни один тиран, ни один активный участник террора, ни один сексуальный маньяк и насильник не считал себя чудовищем или монстром. Но вся глубина психологических и метафизических переживаний греха и греховности дана нам в рассказах людей с ничтожными, по общим меркам, прегрешениями. (Вспомним Паскаля, Льва Толстого, Киркегора, Достоевского, Симону Вейль...) Лишь человек с обостренным моральным и, шире, религиозным чувством способен ощущать свою «падшесть», свою «нечистоту». Лишь тот, в ком светится, благоухая, идеал чистоты и ангелоподобия, кто действительно чувствует ощутимую, осязаемую святость материи мира. Ясно, например, что тление человеческого тела поражало юношу Тракля не менее, чем оно поражало Карамзовых в отношении старца Зосимы: материальная субстанция столь же духоносна, как и любая другая, но отчего-то она невероятно трансформационна и исчезновенна. И крылья земных ангелов у Тракля часто испачканы грязью и калом.

В качестве «падшего человека», каковым является каждый из нас, представителей гниющего, растленного, деградирующего, самодовольного, все более вульгаризирующегося рода, Георг Тракль, конечно же, был греховен и замутнен, расколот внутренними противоборствами и взаимоисключающими влечениями. Однако здесь у него есть перед многими заметное

преимущество: он открыто признавался перед собой и Богом в своей «растленности», которая, конечно же, ничуть не превосходила «растленность» окружающих его людей. Во всяком случае, нет ни малейших доказательств реальности инцестуальных связей, которые биограф Отто Базиль почему-то принимает за само собой разумеющийся факт\*, хотя сам же не раз с удивлением констатирует, что единственное «доказательство» реальности инцеста – стихотворение в прозе «Сон и помраченность», один из мотивов которого: некто взял насильем некую. Представляется излишним всерьез говорить о том, насколько абсурдно рассматривать сюрреалистически-экстатическое по стилю, почти в духе Лотреамона стихотворение, воссоздающее атмосферу тотальной греховности современного сознания, его загнанности в неотвратимость греха, в качестве юридического доноса автора на самого себя, газетного репортажа «с места происшествия». Кстати, по этой логике, какими же невероятными садистами и злодеями должны предстать нашим глазам тот же Лотреамон или Жорж Батай. Представлять 26-летнего Тракля неврастеничным идиотом, жаждавшим «публично исповедаться в страшном грехе» и для этого написавшим «поэтическую, но документально правдивую исповедь» и отдавшим ее в 1913 году в печать, и все это при жизни родных и Греты, причинить которой малейший дискомфорт было для него нестерпимым, да и попросту непредставимым, – для всего этого надо применить неизвестную нам логику и неизвестную нам «исследовательскую» мораль, выключающую из сферы пользования принцип презумпции невиновности. Нам же кажется, что само наличие «Сна и омраченности», где с редкой экспрессией создан образ омраченного, дико страдающего от этой омраченности сознания, тот факт, что в центре поэмы

\* Тот же О. Базиль приводит серьезнейший документ: ссылки на Э. Бушбека, ближайшего к Георгу человека, пережившего к тому же в 1912 году нешуточный роман с сестрой Георга Тракля Гретой и тем самым приближенного к тайнам ее психики. Э. Бушбек решительнейше опровергал и отвергал в разговорах с друзьями всякие намеки на интимную связь брата с сестрой, трактуя «чувство вины» Георга как сложные сугубо ментальные процессы.

страстный конфликт между демонически чувственным влечением и влечениями ангельскими, между похотью и инстинктом целомудрия, сам факт опубликованности этой поэмы при жизни Георга и Греты доказывает наивность мрачных, кем-то однажды запущенных слухов. А что уж говорить о том, насколько всё это не имеет значения сегодня, когда сексуальные взаимоотношения вообще выведены за пределы каких-либо моральных оценок.

Разорванность «падшего человеческого рода», бешено культивирующего рассудок, рационально-машинную сторону в человеке и тем самым отдавшего интуитивно-созерцательную часть и «метафизическую душу» на своего рода заклятие, не могла не ощущаться с огромной амплитудой целостным темпераментом Тракля, который, как и всякий поэт, опыты ставил на самом себе. И обостренный демонизм эротической чувственности, культивируемый историческим христианством, разорвавшим некогда целостного человека на «душу» и «тело», Тракль переживал как одну из центральных битв в той большой войне, что идет в психике «падшего рода»\*, центральной религиозной фигурой которого был он сам, невинный зальцбургский мальчик, начавший вдруг однажды фатальный эксперимент по «растягиванию своей души» и своего сознания. Характерен один из его афоризмов, шокировавший его приятелей: «Я не имею права избегать Ада». Следует расшифровать: «Не имею ни морального, ни метафизического права, а в противном случае все мои искания окажутся вздором и хламом».

Разумеется, люди с мощным морально-религиозным «инстинктом истины», ставящие эксперимент на себе (обвиняющие не просто человечество, «падший род», но и самих себя как ближайшую и поддающуюся реальному анализу и «трансформациям» модель), чрезвычайно рискуют в обыденном смысле, так как отказываются от культивирования чувства своей значимости, социальной полноценности и т. п. Они «подставляются», становятся чрезвычайно уязвимыми, они рискуют в прямом психологическом смысле оказаться для рода При-

\* Блестящую формулу этого конфликта Тракль дал, сказав о Льве Толстом: «Пан, погибающий под тяжестью креста».

шельцами, Чужаками, оказаться в вакууме реального общения, в замкнутом круге непонимания. Что в общем-то и произошло с Траклем, и не будь у него некоего общения по поводу своих стихов, то едва ли бы оставалось что-то, что корреспондировало бы его с социумом.

7

Страстность и чистота, простодушие и сила, духовная зрелость и наивность – вот ощущение от его фотографий, которые сверх того дают еще и парадоксальное чувство, что перед тобой каким-то образом русское лицо (пусть посмеется над мной читатель). Друг Райнера Рильке философ Рудольф Касснер (кстати, вполне профессионально занимавшийся физиогномикой) сказал после встречи с Георгом в 1913 году, что тот произвел на него впечатление «не выспавшегося, с землистым цветом лица невинного таинственного мальчика». Что-то нам это напоминает: невинный таинственный русский (во все-европейско-религиозной парадигме Достоевского) мальчик. «Мальчик», поскольку метафизические и религиозные проблемы переживал с такой наивной страстностью, какая недоступна «взрослому», для которого социальный имидж и статус в любом случае на первом месте. Для «взрослого» религиозные проблемы и философские есть сфера занятий чисто интеллектуальных, то есть вербальных, и он, конечно, не будет рисковать своим здоровьем, психическим комфортом и всерьез следовать в обыденной жизни выводам и принципам, которые, скажем, «всерьез» проповедует с кафедры. О чем едко писал в свое время Киркегор, тоже бывший типично в этом (старинно-умершем) смысле «русским мальчиком» – «невинным и таинственным», сжигавшим свою плоть в страстной целостности и серьезности религиозно-психологических экспериментов.

8

«Христианские» интуиции Тракля имеют, я бы сказал, истоки, аналогичные дзэнским. Христос для него – космически универ-

сальная, внеконфессиональная и вневременная энергия, вступающая в контакт с личной силой индивида, если она достаточна, и если она достаточно глубоко центрирована, и если она чиста. Вот странный фрагмент из воспоминаний Мархольда: «Стоя перед телячьей головой, выставленной на крестьянском празднике в качестве приза, Тракль, в тот момент, когда музыка и танцы были в самом разгаре, произнес, дрожа всем телом: “Это наш господин Христос”...». Эпизод этот не следует, на мой взгляд, разбирать логически, поскольку суть его – поток реального религиозного действия Тракля, в котором потрясенным оказывается весь его человеческий состав. Жертва Христа не есть только человеческая жертва и только во имя человек. К тому же животные в мире Тракля не менее святы, чем люди и чем деревья. Всё это в его поэтической метафизике изначально (до падшести человеческого рода) единый мир, измерение которого – естественная экстастика сакральности, внеиерархичности и той цельности, где понятия ценности и ценностей испаряются бесследно. Все одинаково ценно и все в равной мере не имеет никакой цены. Этот мир вне-идеологичен, но энергетичен неведомой нам нынешним (падшим) энергетичностью. На вопрос: «Как вы объясните такие религиозные, но не христианские явления, как Будда или древние китайские мудрецы?» – Тракль однажды ответил просто: «Все они тоже получили свет от Христа». То есть получили свет (просветленность), вышли из омраченности «естественного» состояния задолго до рождения исторического Иисуса Христа. Следовательно, неважно, как именно назвать этот свет. Если его собеседникам, полностью пребывающим в лоне христианской терминологии, проще понимать космос через символику Христа, то термин может остаться, хотя при этом свершается мистический прыжок: Христос – не просто историческое тело, но вневременный дух, пронизывающий земной космос. Но при такой интуиции, особенно если она глубинна, термин уже неважен. Когда в твою ментальность входит подобная интуиция, тебе становится ясно, что и Лао-цзы, и Чжуан-цзы, и Будда, и Иисус Христос есть одна вневременная монада просветленности, точнее – ее модификации, пребывающие за границами истории.

Что есть мистерия? И каким образом человек оказывается послушен (причастен) зову глубин, из (от) которых он бесосновательно выброшен и отброшен? Кто назовет нам это место и время отринутой? Да и если назовет – как мы войдем туда назад? Обладает ли время такой упругой возможностью выпустить нас? Медленно нарастает смерть за окном. Как знак приближенности, как символ нашей незамеченности. Утрачивается бешеный ритм брошенных на произвол коней в длинноногой степи. Хоть как-то близить это священство, напоминающее о себе томлением зноя в крови. Погибельный гнет практических функций. Гниение зеленой плоти, не замечаемой никем в упор. Гибельность фамильно-родовых сползаний в уют полужизни, в накапливанье поверхностно тоскливых смыслов, получувств, полуконвульсий. Гримасничающие божки солнечных подземелий. Кто создан для счастья? Пусть поднимут руки те, кому шепнули об этом Парки. Любая волна уйдет в песок, если не станет морем. Миллионы рек живы мечтою о нем, верой в него. Струится это знание маревом летних облаков, зноем травы, вакханалией бездонных аллей. Длится тайная мистерия. Нет, не за поворотом – здесь, в этой близости сумрачно сплетшихся ветвей бузины ли, орешника ли, крепко сдружившихся ив. Безглагольность тоски перекрывает эта пульсирующая топь звезд, во все не обязательно ожидающих ночи, чтобы вонзить в нас иглу умопомрачения, когда солнце вдруг хлещет в упор своей чернотой. А деревья всей земли вступают в заговор, чтобы продлить это безумье человеческого нечленораздельного безглагольного волнения. Пустое место мистерии. Возникновение мистериальных точек на карте, за которыми внимательно следит тот, кто ответствен за высокий ток непрерывности страсти, длящейся между жизнью и смертью.

*Июль 2000*

Тропую Пришельца ( <i>Предисловие переводчика</i> ).....	3
Песнь Отрешенного ( <i>Хроника жизни и творчества Георга Тракля</i> ) .....	15

## ГЕОРГ ТРАКЛЬ ИЗБРАННЫЕ СТИХИ

Am Rand eines alten Brunnens На краю старого фонтана .....	21
Unterwegs В пути.....	23
Vorhölle Чистилище.....	27
«O das Wohnen in der Stille...» «О тишина проживания...» .....	31
An die Schwester Сестре.....	33
Sommersneige Истаяло лето.....	35
Jahr Год.....	37
Kaspar Hauser Lied Песнь о Каспаре Хаузере.....	39
Geistliche Dämmerung 2 Fassung Священные сумерки 2-я редакция.....	41
Lebensalter Возрасты жизни.....	43

An einen Frühverstorbenen Одному раноушедшему .....	45
Anif Аниф .....	49
Geburt Роды .....	51
Frühling der Seele Весна души .....	53
An Novalis 1 Fassung Новалису 1-я редакция .....	57
An Novalis 2 Fassung (a) Новалису 2-я редакция (a) .....	59
Kindheit Детство .....	61
Zu Abend mein Herz Вечернее сердце моё .....	63
Helian Гелиан .....	65
Neige 2 Fassung Склон 2-я редакция .....	73
An Johanna Иоанне .....	75
Nähe des Todes 2 Fassung Близость смерти 2-я редакция .....	79
Amen Аминь .....	81
Landschaft 2 Fassung Ландшафт 2-я редакция .....	83
Sebastian im Traum Грезящий Себастьян .....	85
Am Moor 3 Fassung На болотах 3-я редакция .....	91

Am Mönchsberg 2 Fassung У Монашьей горы 2-я редакция .....	93
Im Park В парке .....	95
«Die blaue Nacht ist sanft auf unseren Stirnen...» «Синяя ночь возлегла нам нежнейше на веки...» .....	97
Psalm 2 Fassung Псалом 2-я редакция .....	99
Die Sonnenblumen Подсолнухи .....	103
Hohenburg 2 Fassung Хоэнбург 2-я редакция .....	105
Abend in Lans 2 Fassung Вечер в Лансе 2-я редакция .....	107
Siebengesang des Todes Семипсалмие смерти .....	109
Untergang 5 Fassung Закат 5-я редакция .....	113
Nachts Ночью .....	115
In Wenedig В Венеции .....	117
De Profundis De Profundis .....	119
«Finster blutet ein braunes Wild im Busch...» «Кровью в кустах истекает, в тоске и тревоге...» .....	121
Ruh und Schweigen Покой и безмолвие .....	123
Der Wanderer 2 Fassung Странник 2-я редакция .....	125
An die Verstummten Умолкшим .....	127

Passion 3 Fassung	
Passion 3-я редакция .....	129
Gesang des Abgeschiedenen	
Песнь Отрешенного .....	131
Abendlied	
Вечерняя песня .....	133
Stunde des Grams	
Час скорби .....	135
An Luzifer 3 Fassung	
К Люциферу 3-я редакция .....	137
Winternacht	
Зимняя ночь .....	139
Die Ratten	
Крысы .....	141
An den Knaben Elis	
Мальчику Элису .....	143
Elis 3 Fassung	
Элис 3-я редакция .....	145
Abendland 4 Fassung	
Запад 4-я редакция .....	149
Im Frühling	
Весной .....	153
Am Abend 2 Fassung	
Вечером 2-я редакция .....	155
Nächtliche Klage 1 Fassung	
Ночные слезы 1-я редакция .....	157
Der Heilige	
Святой .....	159
Die Heimkehr 2 Fassung	
Возвращение домой 2-я редакция .....	161
Klagelied	
Слёзная песнь .....	163

«Nimm blauer Abend eines Schläfe...»	
«Прими синий вечер этого сна...» .....	165
Abendländisches Lied	
Песнь вечерней страны .....	167
Verklärung	
Просветление .....	169
Föhn	
Фён .....	171
«Die Stille der Verstorbenen...»	
«Тишина мертвых...» .....	173
<Wind, weiße Stimme> 1 Fassung	
<Ветер, белый голос> 1-я редакция .....	175
<Wind, weiße Stimme> 2 Fassung	
<Ветер, белый голос> 2-я редакция .....	177
«Rote Gesichter verschlang die Nacht...»	
«Лиц красноту ночь заглотила...» .....	179
Die Sonne	
Солнце .....	181
Das Gewitter	
Гроза .....	183
Klage	
Жалоба .....	187
Die Nacht	
Ночь .....	189
Sommer	
Лето .....	191
In ein altes Stammbuch	
В старинный генеалогический альбом .....	193
«So leise läuten...»	
«Возле белой стены тихие звоны...» .....	195
Gesang einer gefangenen Amsel	
Песня пленного дрозда .....	197

Im Dunkel 2 Fassung В сумерках 2-я редакция .....	199
In Hellbrunn В Хельбрунне.....	201
«Dunkel ist das Lied des Frühlingsregens...» «Таинственная песня весеннего ночного дождя...» .....	203
Karl Kraus Карл Краус .....	205
Das Herz Сердце .....	207
«Gestalt die lange in Kühle...» «Силуэт долго живший в прохладе...» .....	209
Die Schwermut Тоска.....	211
Im Osten На востоке.....	213
Grodekl 2 Fassung Гродек 2-я редакция .....	215
Im Schnee (Nachtergebung) 1 Fassung В снегу (Посвящение в Ночь. 1-я редакция).....	217
Verwandlung des Bösen 2 Fassung Трансформация зла 2-я редакция .....	219

#### ПРИЛОЖЕНИЕ

<i>Мартин Хайдеггер</i> Язык поэмы. Истолкование (поиск местности) поэзии Георга Тракля.....	223
<i>Николай Болдырев-Северский</i> Пирамида сознания.....	271

В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «ВОДОЛЕЙ» ВЫШЛА КНИГА:

**Пауль Целан. Избранные стихотворения / Сост., пер. с нем., предисл. и примеч. Н. Болдырева-Северского.**

Пауль Целан (1920–1970) – крупнейший после Гёльдерлина, Тракля и Рильке метафизический поэт, поэт немецкого языка – родился в румынских Черновцах в еврейской семье. После возвращения из румынско-фашистских «трудовых лагерей» жил в Бухаресте, Вене и Париже (долее всего и до смерти). Преподавал немецкий язык в Эколь Нормаль. Спасаясь от прогрессирующего безумия, в одну из апрельских ночей бросился в Сену с моста Мирабо.

Целан был не просто влюблен в русскую поэзию и страстно ее переводил, но подобно Рильке испытывал особый трепет перед русским духовным типом, «внезападным» по существу. В посланиях к друзьям он иногда подписывался с обезоруживающей улыбкой: «Русский поэт в изгнании Павел Львович Целан».

Целан – один из наиболее семантически таинственных поэтов Европы. О его творчестве размышляли М. Хайдеггер, Х.-Г. Гадамер, Ю. Кристева, Ж. Деррида, Э. Левинас, О. Седакова и многие другие философы и филологи.

**Тракторь Георг**  
Грезящий Гелиан  
*Избранные стихи*

Технический редактор *А. Ильина*  
Корректор *Н. Федотова*

Подписано в печать 10.01.20. Формат 84x108/32  
Бумага офсетная. Печать цифровая. Печ. л. 9,25

Издательство «Водолей»  
127254, г. Москва, ул. Гончарова, 17-А, кор. 2, к. 23  
Официальный сайт: <http://www.vodoleybooks.ru>  
E-mail: [info@vodoleybooks.ru](mailto:info@vodoleybooks.ru)

Отпечатано: АО «Т8 Издательские Технологии»  
109316 Москва, Волгоградский проспект, дом 42, корпус 5  
Тел.: 8 (499) 322-38-30

